

**ЛЕОНИД
АНДРЕЕВ**

ИГО ВОЙНЫ

Леонид Николаевич Андреев

Иго войны

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=148190

Иуда Искариот : Дни нашей жизни ; Повести ; Рассказы : Эксмо;

Москва; 2012

ISBN 978-5-699-55327-3

Аннотация

«Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался? Ну, война и война, – конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... давно ли была хоть бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях...»

Содержание

Часть I	7
1914 год	7
Августа 16 дня.	14
Петроград, августа 19 дня, вторник.	20
Августа 22 дня.	21
Сентября 7 дня, воскресенье.	23
Того же числа, вечером.	26
Сентября 12 дня.	29
Сентября 14 дня.	30
Сентября 27 дня.	31
28 сентября.	34
Октября 2 дня.	35
Октября 16 дня, Петроград.	41
Октября 17 дня.	42
Октября 20 дня.	46
Ноября 2 дня.	53
Ноября 6 дня.	54
Декабря 4 дня.	56
18 декабря.	58
Понедельник, 22 декабря.	60
Ночью.	61
Часть II	62
1915 год	62

17 января.	67
20 января.	68
14 февраля.	69
26 февраля.	73
6 марта.	75
10 марта, вторник.	77
11 марта.	81
14 марта.	82
10 июня.	83
11 июня.	84
16 июня.	86
17 июня.	87
20 июня.	89
Того же числа, ночью.	90
23 июня.	92
26 июня.	94
3 июля.	96
4 июля.	97
8 июля.	99
Ночью того же.	102
16 июля.	103
19 июля.	104
26 июля.	106
29 июля.	110
30 июля.	113
Часть III	115

5 августа.	115
7 августа.	118
8 августа.	120
12 августа.	121
15 августа.	122
16 августа.	125
21 августа.	127
22 августа.	128
25 августа.	131
26 августа.	133
27 августа.	135
28 августа.	136
29 августа.	140
30 августа.	141
1 сентября.	142
3 сентября, четверг.	144
4 сентября.	146
6 сентября.	148
7 сентября.	150
9 сентября.	154
12 сентября.	162
13 сентября.	163
15 сентября.	167
18 сентября.	168
20 сентября.	169
24 сентября.	173

Леонид Николаевич Андреев Иго войны

*Илье Ефимовичу Репину с любовью и глубоким
уважением посвящает автор*

Часть I

1914 год

С.-Петербург, августа 15 дня.

Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался?

Ну, война и война, – конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... давно ли была хоть бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не

наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях.

Положим, нельзя отрицать и того, что в душе есть-таки довольно сильное беспокойство или тревога... не знаю, как это назвать; или даже вернее: некоторая сосущая тоска, наиболее заметная и ощутимая по утрам, за чаем. Как прочтешь эти газеты (теперь я беру две большие газеты, кроме «Копейки»), как вспомнишь, что делается там, обо всех этих несчастных бельгийцах, о детишках и разоренных домах, так сразу точно холодной водой обольют и голым выгонят на мороз. Но опять-таки и здесь нет никакого страха, а одна только человеческая жалость и сочувствие к несчастным.

А тогда я испугался чрезвычайно, положительно до смешного, теперь не только рассказать, но и наедине вспомнить стыдно. Представить себе только одно: 20-го июля я заплатил тридцать рублей за дрянную подводку, чтобы из Шувалова, с дачи, добраться до города, а через каких-нибудь пять дней со всею семьею ехал по жел. дороге обратно на дачу и жил там преспокойнейшим образом до 17-го августа. Стыдно вспомнить, что тогда с нами делалось! Жена, немытая и нечесаная, совсем обестолковела и имеет вид безумной, дети трясутся на телеге, а я, отец семейства, марширую рядышком по шоссе и чувствую так, будто позади меня началось светопреставление и надобно всем нам бежать, бежать без оглядки, бежать бесконечно... не до Питера только, а до са-

мой неведомой границы земли.

Во всех лавках по дороге хлеб продают, сколько хочешь, а у меня – в кармане за каким-то дьяволом сухая корка! На всякий случай, предусмотрительность и расчет. О Господи!

Погода была превосходная, чудесная, а нам и в погоду-то не верилось, все казалось, что либо польет дождь, как в потоп, либо внезапно выпадет снег и ударит мороз – это в июлето! – и всех нас погубит на полпути; уж как мы все гнали нашего извозчика! Помню одно еще обстоятельство, самое постыдное: сорвал я около дороги какой-то голубенький цветочек, колокольчик, и дал его Лидочке, моей девочке, пошутил с нею; и это бы ничего, вполне естественно, так как я очень люблю моих детей и особенно Лидочку... но что я думал про себя, когда шутил? Думал: «Вот до чего я мало потерялся и вполне владею собой, не то что другие: даже цветочки еще рву, шучу, детей и жену ободряю!»

Вот какой герой сверхъестественный!

А что было, когда мы к вечеру ввалились в нашу квартиру, какая Пасха необыкновенная! Истинный восторг, блаженство и ликование! А когда свечку зажгли (электричество еще было закрыто по случаю отъезда) и всей семьей за самоваром расселись!

Но что самое удивительное: решительно не могу припомнить, когда прошел у меня этот дурацкий страх и как это случилось, что всего через пять дней мы спокойнейшими дачниками ехали обратно и, главное, нисколько себя не стыди-

лись! Положим, половина вагона состояла из таких же героев, как и мы, но как мы друг на друга смотрели? Не помню. Просто никак и не смотрели, а ехали обратно, и все тут. Герои! Да еще рассказывали друг другу, сколько каждый дурак за подводу отвалил, и тоже без всякого стеснения.

Конечно, в значительной степени меня подвинула жена, Александра Евгеньевна, своим почти что бессловесным ужасом, и так я теперь знакомым объясняю тогдашнее наше бегство «в Египет», но для совести моей этого объяснения недостаточно. Сдрейфил! Главное: будь бы я от природы трус, баба – тогда и все бы понятно, и совесть бы моя не тревожилась... какая совесть у труса, трусу ничего не стыдно! Но я вовсе от рождения не трус, скорее смелый человек и за себя всегда постоять могу, и нашло же на меня какое-то затмение! словно какая-то судорога случилась у меня в мозгу и помутился белый свет. Ведь если со стороны поглядеть, как я по шоссе маршировал и весьма храбро собирал цветочки, так ведь истинный дурак, трус и подлец, а я себя не на шутку умным почитал: как же – и телегу достал, и вот детей спасаю, и в кармане у меня корка... не как-нибудь, а с запасом человек!

Но отчего же все это?

Теперь я так это объясняю. По-видимому, мне, как и всем другим, в тот день что-то представилось, какое-то сверхъестественное видение, настолько поразительное, страшное и необыкновенное, что даже и на войну оно не было похоже.

Положительно, как ни стараюсь, не могу припомнить, в чем тут дело, что это за сон приснился наяву... да, именно что-то вроде светопреставления, конца земли и полной гибели всего живущего. Точно где-то гром прогремел и со звоном раскололась земля, дала трещину, от которой надо бежать и спасаться.

Одно я вполне отчетливо помню: самих немцев с их кайзером я несколько не боялся и даже вовсе позабыл о них, как будто и не в них дело; да и как могли немцы в один день прилететь в Шувалово – всякий дурак понимал, что это невозможно, глупо даже думать.

Да и кто такие немцы? В конце концов, все такие же люди, как и мы, и нас они, вероятно, боятся ни больше, ни меньше, чем мы их. Дело, так сказать, обоюдное... А здесь – не то звери допотопные гнались по пятам и грохали по земле своими ножищами, не то... нет, и не звери! Что такое – зверь? Какие звери? Кто их теперь боится? Пустяки, не в этом причина, а в том, что произошла в мозгу какая-то судорога и помутился белый свет. Именно: помутился и весь перевернулся, днищем кверху, точно я не на ногах, а на руках иду, как акробат.

Вот еще помню я, как тогда, на шоссе, меня удивляло все самое обыкновенное и ни в каком отношении не замечательное. Идет, например, навстречу человек, а я гляжу, как он ногами перебирает, и удивляюсь: ишь, идет! Или курица выскочила на дорогу, или котенок под лопухом сидит – тоже

удивительно: котенок. Или я говорю лавочнику «здравствуйте!», а он мне тоже отвечает «здравствуйте», а не какое-нибудь совсем непонятное: бала-бала.

Улицы в городе увидели – опять все удивились, точно двести тысяч выиграли; городской на углу стоит (даже еще знакомый) – опять все заахали от изумления и радости! Как будто от двух слов Вильгельма: «война объявлена» все это должно было провалиться в преисподнюю: и котенок, и улица, и городской; и самый язык человеческий должен был замениться звериным мычанием или непонятным лопотом. Какие дикие вещи могут представиться человеку, когда он испугался!

Теперь я уж ничего не понимаю в этом страхе своем и только стыжусь. Есть и еще один факт, кроме Лидочкиного цветочка, который очень больно колет мою совесть. Трус я или нет, об этом ввиду вышеизложенного можно теперь говорить только с догадкой, но в честности своей я всегда был уверен. Здесь, в дневнике, наедине с Богом и моею совестью, могу сказать даже больше: я не только честный, а замечательно честный человек, чем по справедливости горжусь. Впрочем, таким меня и люди знают.

И вот я, по совести моей столь замечательно честный и порядочный человек, 20-го проклятого июля оставил в Шувалове нашу кухарку Анисью, несмотря на ее слезы и мольбы.

Разумеется, теперь и это только смешно и может вызвать

только улыбку: ну что могло сделаться с этой дурой Анисьей в Шувалове? Да ничего и не сделалось, и через два же дня она сама явилась, как писаная, на нашу городскую квартиру, ухитрилась как-то попасть на поезд и даже банку с малосольными огурцами привезла. Но тогда это было совсем иное дело: ведь я бежал и вывозил семью, спасая ее от какой-то гибели, а ее оставил потому, что и места не хватало на телеге и, главное, нужно было оставить человека убрать и постеречь вещи. О вещах-то не забыл, буржуй!

Одно можно сказать в утешение: Анисья хоть и плакала тогда и просилась с нами, но нисколько не обиделась, что ее не взяли, и никогда никого из нас не упрекает. Дура баба.

Августа 16 дня.

Этот дневник мой я пишу по вечерам и ночам под видом служебных бумаг, которые якобы беру на дом из конторы. Александра Евгеньевна, моя жена, во всех отношениях чудесный и даже редкий человек, интеллигентный, добрый и отзывчивый, но все же между нами есть некоторая разница, какая есть между собою и всяким другим самым близким человеком; и для меня крайне важно и необходимо, чтобы никто не читал написанного мною, иначе я потеряю свободу в выражении моих мыслей. Не считая того, что о многом говорить стыдно даже с близкими и любимыми людьми, в моих теперешних мыслях я усматриваю даже опасность некоторого соблазна для менее сдержанных натур, нежели моя. Не буду мешать людям думать свое, но не хочу, чтобы и мне мешали.

Начну с великого признанья: какой я среди всеобщего несчастья бессовестно счастливый человек! Там война, кровь и ужасы, а здесь моя Сашенька только что выкупала в теплой воде ангелочка Лидочку и бурбона Петьку, а теперь докупывает Женю и чего-то смеется; потом она будет делать что-то свое, прибираться к завтрашнему воскресенью, может быть, поиграет на пианино. Вчера мы получили открытку от Павлуши, и теперь неделю Сашенька будет весела и спокойна; конечно, нельзя знать, что случится, но если не очень за-

глядывать в будущее, то наша жизнь одна из самых счастливых. Пианино мы берем напрокат, для Сашеньки, которая очень любит музыку и готовилась в консерваторию; ввиду военного времени, для сокращения расходов, Сашенька хотела отказаться от инструмента, но я решительно настоял на том, чтобы его оставить: что такое пять рублей в месяц, когда музыка всему дому дает такое приятное настроение! Да и Лидочка уже начинает подучиваться, у нее несомненный талант, даже удивительный в ее шесть с половиною лет.

Да, я счастлив, и вот главные причины моего счастья, о которых никому, кроме дневника, сказать не решусь. Мне сорок пять лет, и, следовательно, что бы там ни случилось, я ни в каком случае призыву не подлежу. Конечно, как об этом скажешь вслух! Наоборот, приходится слегка притворяться, как и всем, что будь я помоложе да поздоровее, так непременно пошел бы добровольцем и прочее, но, в сущности, я невыразимо счастлив, что могу, нисколько не нарушая закона, не идти на войну и не подставлять себя под какие-то дурацкие пули.

Здесь я еще соткровенничаю. Когда у нас в конторе рассматривают карту и кричат, что эта война необыкновенная, кому-то до крайности необходимая, я, собственно, не спорю: кому нужны мои маленькие возражения? Или засмеют, или еще начнут стыдить, как недавно до слез застыдили конторщика Васю. Наконец, ввиду общего подъема мои неосторожные слова могут быть просто вредны – мало ли как их

истолкуют!

Но что бы ни говорили в конторе и как бы ни кричали и ни распинаясь за войну газеты, про себя я твердо знаю одно: мне ужасно не нравится, что война. Очень возможно (да это так и есть), что более высокие умы: ученые, политики, журналисты способны усмотреть какой-то смысл в этой безобразной драке, но моим маленьким умом я решительно не могу понять, что тут может быть хорошего и разумного. И когда я представляю, что я пошел на войну и стою среди чистого поля, а в меня нарочно стреляют из ружей и пушек, чтобы убить, прицеливаются, стараются, из кожи вон лезут, чтобы попасть, то мне даже смешно становится, до того это пахнет какою-то сверхъестественной глупостью.

Вот сейчас я нарочно всего себя осмотрел сверху донизу: что во мне такого соблазнительного, чтобы целиться, и где этот соблазн сидит: во лбу? в груди? в животе? И сколько я себя ни осматриваю и сколько ни ощупываю, вижу только одно: человек я как человек, и только дураку придет в голову стрелять в меня. Поэтому я и пули, нисколько не стесняясь, назвал дурацкими. И когда я представляю дальше, что против меня на другой стороне сидит немец и так же ощупывает свой живот и считает меня с моим ружьем форменным дураком, мне становится не только смешно, но и противно.

Ну а если немец не ощупывает своего живота и совершенно серьезно целится, чтобы убить, и понимает, зачем это надо? И если выходит так, что дурак-то я с моим непонимани-

ем, да мало того, что дурак, а еще и трус? Что ж, очень возможно. Возможно, что и дурак. Возможно, что и трус. Вдруг не один я в Питере, а тысяча, сто тысяч ведут такие же дневники и тоже радуются, что их не призовут и не убьют, и рассуждают точь-в-точь так же, как и я?

Ну и пускай. Разумеется, гордости очень мало в том, чтобы бояться за свою жизнь и ощупывать живот, как кубышку, и Георгия с бантом за это не получишь, но я и не гонюсь за Георгием и в герои Малахова кургана не лезу. Всю мою жизнь я никого не трогал и, что бы там ни пели, имею полное право желать, чтобы и меня не трогали и не стреляли в меня, как в воробья! Не я хотел войны, и Вильгельм ведь не прислал ко мне посла с вопросом, согласен ли я драться, а просто взял и объявил: дерись!

Само собой понятно, что я люблю мою родину, Россию, и раз на нее напали, то будь это хоть дурак или сумасшедший, я должен защищать ее, не щадя этого своего живота. Это само собою понятно, и говорю по чистой моей совести, клянусь Богом, что, если бы я подлежал призыву, я и не подумал бы уклоняться, притворяться больным или, пользуясь протекцией, прятаться где-нибудь в тылу, за тетенькиной юбкой. Но и тогда вперед, на рожон, я не полез бы, а ждал бы на своем месте заодно с другими, пока меня убьют или я убью кого там надо.

Все это само собою понятно, и дело в том, что мне, по счастью, сорок пять лет, и я имею полное право не трогаться

с места, думать и рассуждать, как хочу, быть трусом и дураком, а может быть, и не дураком – мое право. Судьба! Вместо того чтобы называться Ильей Петровичем Дементьевым и жить в городе Петербурге, на Почтамтской, я мог быть каким-нибудь бельгийцем, Меттерлинком и теперь уже погиб бы под немецкими снарядами. Но я именно Илья Петрович, которому сорок пять лет и который живет на Почтамтской, в Петербурге, куда никогда не прийти озверелым германцам, и я счастлив.

Да и мало ли что могло быть! Могло быть и то, что вместо нашего банкирского дома, который крепок, как стена, и выдержит всякую войну, я мог бы служить в каком-нибудь жиденьком дельце, которое сейчас уже рухнуло бы, как рухнули многие... вот и остался бы я на улице с моей Лидочкой, выигрышным билетом и пятью сотнями рублей из сберегательной кассы – тоже положение! А мог бы быть поляком из Калища, или евреем, и тоже бы лежал сейчас во рву, как падаль, или болтался на веревке! У всякого своя судьба.

Но гадать о том, чего нет, совершенно бесполезно, и сколько бы я ни жалел бельгийца или нашего солдата, который погибает в окопах, я не могу радоваться тому, что я есть то, что я есть. Господи! – вместо моей чудесной Сашеньки у меня и жена могла бы быть какой-нибудь дрянью, каких достаточно на свете, и это также была бы судьба, и не могу я не радоваться своему счастью, раз оно есть.

...Сейчас Сашенька играла бельгийский гимн, и я слушал.

Какая прекрасная музыка! Сколько в ней воодушевления и любви к родине и свободе! Слушаешь ее, и даже слезы наворачиваются на глаза, и так жаль становится бедных бельгийцев, которым не помогла ни эта прекрасная музыка, ни любовь к родине, задушит их проклятый немец.

Нет! Сколько ни доказывай наши конторские политики, а никогда не соглашусь я, что эта война хороша. Какие глупости! Людей режут и душат, а они уверяют, что это и надобно, что это и хорошо – потом, дескать, возьмем мы Берлин и справедливость восторжествует. Какая справедливость? Для кого? А если среди погибших бельгийцев был вот такой же Илья Петрович, как и я (а почему ему и не быть?), то очень ему пригодится эта справедливость!

Сашенька говорит, что поздно, зовет спать. Или мне и тому не радоваться, что после дня честной работы я иду спать?

Петроград, августа 19 дня, вторник.

День исторический: переименовались в Петроград. Отныне я петроградец.

Оно красиво, да и трудно будет привыкать. Контора наша радуется новизне, а мне от души жаль старого Петербурга, да еще Санкт-Петербурга. В этом Петрограде чувствуешь себя так, будто в новом сюртуке весь день торчишь в приемной у начальства; и хорош сюртук, а все жаль старого пиджачка, в котором каждое пятно говорит о приятном уюте.

Августа 22 дня.

Мы продолжаем побеждать. Пруссия занята нашими войсками, и прошел слух, что не нынче завтра будет взят Кенигсберг. Это важно! А сегодня сообщение от штаба, что взяты Львов и Галич и австрийцы совершенно разбиты.

Нечего греха таить: как я ни миролюбив, а все-таки приятно и самому поздравлять и принимать поздравления. Если уж воевать, так лучше бить, нежели самому быть битым. Но как разгорается война, как быстры ее огнедышащие шаги! Мне это напоминает один пожар, который я видел в детстве, живя в большом селе: только что загорелся один дом, а через час все уже соломенные крыши полыхают, конца-краю нет огненному морю.

Любопытно для моралистов некоторое свойство человеческой души: что хорошего в пожаре? – а чем яростнее разгорается огонь, тем несомненнее какое-то праздничное ощущение. Или это так празднично действует звон колоколов, блеск пожарных и суетливые толпы? Юность мою я провел в провинции, где и гимназию окончил, и помню, с какой быстротой летали мы на всякий пожар, где бы он ни случился. Мастеровые бросали работу и неслись туда же, и никто не стеснялся своего костюма и неумытого лица; и только, бывало, пронесется крик: «Пожар!», все мужчины и мальчишки лезут на крыши, гремя железными листами, и стоят, еле

держатся, протягивают вдаль указательные персты, как полководцы на памятнике. И даже в гимназии, когда мимо проезжал с колокольцами пожарный обоз, учителя не запрещали всем бросаться к окнам, да и сами смотрели.

Конечно, о несчастных погорельцах мало кто думал в эту минуту. Признаться, я и сейчас испытываю некоторое возбуждение и с огромным любопытством смотрю на картину европейского пожара, гадая о каждом новом дне. Хотя лично я предпочел бы мир, но утверждение наших конторских, что мы, современники и очевидцы этой необыкновенной войны, должны гордиться нашим положением, – несомненно, имеет некоторые основания. Гордиться не гордиться, а интересно.

Один тяжелый камень на сердце – это Павлуша. Пока все благополучно и он где-то в Пруссии шагает победителем, но кто может поручиться за завтрашний день? А где был бы я теперь, да и был бы, если бы не сорок пять лет мне считалось от роду, а двадцать-тридцать? Вот охлаждающая мысль, к которой почаще следует возвращаться, не увлекаясь чрезмерно интересными картинами.

Сентября 7 дня, воскресенье.

Вот уже две недели и два дня, как от Павлуши нет никаких известий. По последним его письмам можно было заключить, что он где-то в Пруссии, где так ужасно были разбиты самсоновские корпуса. Конечно, Сашенька в страшном беспокойстве, а тут еще каждый почти день приходит ее мама, моя теща, Инна Ивановна, и видом своего старушечьего горя как бы весь дом наш одевает в траур. Вот и сейчас она пришла от обедни прямо к нам, и Сашенька поит ее кофе в столовой, пока я тут пишу.

У Инны Ивановны, кроме младшего, Павлуши, есть еще сын, семейный, у которого она, собственно, и живет, так как своих средств не имеет; но оттого ли, что Николай порядочно суховатый человек, или по самой природе вещей ее больше тянет к дочери, всякое свое горе и беспокойство она несет к нам. Само собою понятно, что я всем сердцем люблю безобидную старушку, но не могу утаить, насколько лично для меня бывают порою тягостны эти скорбные посещения. То она придет с жалобами и слезами по поводу Николая, который скверно живет с своей женой, то вот теперь с Павлушей; всегда у нее что-нибудь найдется, чем она сумеет расстроить Сашеньку и внести дисгармонию в наше маленькое счастье.

Я и сам люблю Павлушу и без содрогания не могу подумать, что, быть может, сейчас, в эту самую минуту, как я пи-

шу его имя, его убивают или уже давно он мертв и похоронен; вчера ночью, случайно проснувшись, я долго потом не мог уснуть от какой-то нелепой и мучительной раздвоенности в душе: решительно не могу думать о Павлуше как о живом и в то же время не имею никакого права думать о нем как о мертвом. И то ли мне жалеть его, что он в окопах и подвергается опасности, и обдумывать вопрос о теплых вещах, которые мы собираемся послать ему, – то ли уже оплакивать его... неизвестно!

И я знаю, что если не теперь (мне почему-то кажется, что сейчас Павлуша жив), то в близком или далеком будущем его почти наверное убьют в этой ужасной войне, больше похожей на сплошное живодерство, чем на торжество какой-то справедливости. Хотя многие в конторе утверждают, что война кончится уже в ноябре, и я не спорю с ними, но мне этот оптимизм кажется чрезмерным, и раньше Рождества мира ожидать нельзя: значит, еще почти четыре месяца. А так как каждый месяц убивается около двухсот тысяч, то можно представить, каковы шансы у нашего Павлуши!

Но я мужчина, у меня мужские силы и ум, я могу вполне осознать силу неизбежности; и удар, если он постигнет нашу семью, приму с твердостью. Да – но что будет с нашим домом? Что будет с Сашенькой? Что будет с мамашей, которая может сама умереть от одного только слова?

Вчера во время бессонницы, ночью, я обдумывал следующее: как об этом сказать мамаше, если случится? И кто ска-

жет? У меня даже сердцебиение сделалось, так это невыносимо представить только, только подумать! Сказать первое слово, ведь это значит сразу весь мир перевернуть в глазах человека: до этой минуты все было одно и мир один, а с этой минуты все другое и мир другой. И первому принять на себя ужасный взрыв горя, тем более ужасного, что решительно неизвестно наперед, в каких формах он выльется... слезы ли, крик ли какой-нибудь неслыханный, смерть ли!

Сейчас, в столовой, посмотрел я на сухарик, который мамаша подносила ко рту, и подумал: а что будет с этим сухариком, если вдруг сказать: Павлуша убит! И мне так ясно представилось, как валяется на полу половина этого несчастного сухарика, даже место на полу увидел, где он лежит, и как потом подберет его Анисья и съест, ничего не зная.

По-видимому, еще очень дурно влияет на всех нас осенняя петроградская погода. Дети капризничают, и даже моя небесная Лидочка нарушила свои ангельские обычаи и подралась с Петькой. Какое она очаровательное маленькое существо!

Того же числа, вечером.

Только сейчас вернулся с прогулки, часа три гулял по набережным и Невскому. Боже мой! – какая это красота, наша северная столица, какое богатство, какое могущество! Многие не любят нашего Петрограда, и даже в конторе часто можно бывает слышать этот глупый спор, что лучше: Питер или Москва? Конечно, я молчу, по моему обыкновению, да и стоит ли убеждать людей, которые либо просто слепы, либо нарочно не хотят видеть; особенно противен по этой части наш поляк Зволянский, который чему-то учился полгода в Париже и ничему не научился, кроме умения делать презрительные гримасы. «Дурак ты, дурак! – думаю. – Заставить бы тебя построить такой город!»

Когда я вышел сегодня на Невский, то как раз попал к тому необыкновенному моменту, когда внезапно по всей его линии бесшумно вспыхивают электрические фонари и сероватые сумерки сразу становятся синей ночью. Самое здесь удивительное, что какая бы ни стояла погода, моросит ли дождь или падает снег, вместе с фонарями сразу меняется и погода, становится какой-то особенной превосходнейшей погодой! Просто с наслаждением влез я в толпу, которая показалась мне сегодня особенно велика и оживленна, и так с нею и проплыл до Адмиралтейства, не замечая дороги, словно все мы летели по воздуху; и все время любовался огня-

ми – сколько их, зеленых, белых, малиновых! Текут трамваи непрерывнейшим потоком, нельзя сосчитать их зеленых и красных фонарей, заходящих друг за друга, автомобили множеством парных лучистых глаз своих точно выметают гладкую мостовую, на черном небе вспыхивают транспаранты, а толпы людей движутся, шумят, идут, плетутся извозчичьи кони (кто-то едет в гости!), скачут рысаки... нет, не мне описать это сверхъестественное зрелище!

А на набережной безмолвные громады дворцов, черная вода с огнями редких парходиков, чуть видная Петропавловская крепость с гробницами наших царей и заунывным звоном, глаголом времен... и на круглых гранитных скамейках молчаливые парочки: как и я когда-то посиживал с Сашенькой, запуская, под предлогом холода, свои руки в ее тепленькую муфточку. Долго, между прочим, смотрел я на строящийся Дворцовый мост и соображал, как еще и он украсит нашу дивную столицу.

Возвращаясь же домой все среди такой же бесчисленной и оживленной толпы, я думал о том, как далека от нас ужасная война и как при всей своей ярости она бессильна над человеческой жизнью и созданиями человека. Каким прочным, точно вылитым из стали, казалось мне все: и трамваи, и извозчики, и эти парочки на круглых скамейках, и весь обиход нашей жизни... и еще смешнее стал мой тогдашний первоначальный постыдный страх. Нам ли бояться?

А в Берлине, говорят, уже наполовину погашены город-

ские огни и немцы уже начинают голодать. Несомненно, что они сами виноваты в этой дикой войне, и мне, как русскому, надо радоваться их несчастью, но... Скажу то, чего опять-таки я не решился бы высказать в нашей конторе: если их Берлин хоть немного похож на наш Петроград, мне их жаль. Когда темно, тогда и холодно, и как, должно быть, холодно теперь этим несчастным зарвавшимся тевтонам; и думают они теперь: зачем мы начали эту проклятую войну, зачем свершили столько убийств и злодеяний, если в результате всех наших преступлений только холод, и темнота, и позор? Нет, хоть распни меня – не могу понять и никогда не пойму, зачем люди стремятся убивать друг друга. Какая выгода? Какой смысл?

Пора спать. Но вот что значит непривычка к дневнику: о пустяках болтаю, а главного-то и не сказал – от Павлуши открытка: жив и здоров. И получилась она как раз в ту минуту, когда мамаша уже собиралась домой и стояла в передней, копалась в своих платках и платочках. Радость, конечно, и я с ними счастлив.

Но как все-таки ненадежно наше человеческое счастье!

Сентября 12 дня.

Или мне это кажется... но что-то фальшивит народишко. С одной стороны, все как будто и впрямь проклинаят войну с ее жестокостями и кровью, а с другой – причмокивают губами от какого-то странного удовольствия. От наших ли побед в Галиции, или самая новизна эффектных военных событий действует на умы, но что-то слишком много веселого шума и в газетах, и в нашей конторе. Конечно, бельгийцы герои и король Альберт высокая личность, достойная своей короны, – но все-таки героям горлышко-то режут да режут?.. И чего тут особенно ликовать, я решительно не понимаю, хотя и молчу.

Однако не удержался и сам купил портрет короля Альберта, отдал дань общему увлечению. Но войной все-таки увлечься не могу и, когда читаю в газетах огромные, словно оскаленные заголовки: «Ярослав горит» или «Сандомир в огне», – каждый раз испытываю в мозгу какое-то мучительное ощущение; похоже на острый толчок или на присутствие в мозгу какого-то постороннего предмета. Какое требуется воображение, чтобы вполне ясно представить себе такую картину: Ярослав горит! Сандомир в огне! Поневоле еще раз благословишь судьбу, что наш Питер так далек от всех этих ужасов и треволнений.

Сентября 14 дня.

После серьезного размышления решил дать этот дневник для прочтения Андрею Васильевичу, если, конечно, его не убьют и он вернется с войны. Он никогда со мною не соглашался, пусть рассудит и здесь, прав я или нет. Особенно неприятно мне стало, когда я перечитал мои рассуждения о сорока пяти годах и о моем счастье: когда о таких вещах пишешь скрытно и один, то становится очень похоже на подлость. А я не подлец, и скрывать мне нечего; и одно дело – не болтать и не лезть ко всякому со своими мнениями, и другое дело – таиться и скрывать. Мне скрывать нечего, моя жизнь у всех на виду.

Был болен Петя, ангина, и насилу раздобыли врача. Наш Казимир Вячеславович на войне, а другие все заняты по лазаретам, утомлены, не разыщешь. Что же: мне и этому радоваться и в этом находить высочайший смысл, что больной ребенок остается без помощи? Нет, как я имел, так и буду иметь на этот счет свое собственное мнение.

Сентября 27 дня.

Все эти дни, содрогаясь от ужаса, читаю в газетах о том, как немцы осаждают Антверпен. Тысячи тяжелых орудий осыпают его снарядами, все разрушается и горит, народ бежал, и по опустелым улицам перебегают только отряды солдат. «Над Антверпеном все небо в огне», – пишет газета, и просто нельзя вообразить, что это значит: все небо в огне! А из этого огненного неба огромные цеппелины бросают вниз бомбы... каким надо быть человеком или чертом во образе человека, чтобы летать над таким адом, над пожарами, взрывами и крышами и еще подбрасывать туда огня и разрушения!

Сегодня всю ночь, начитавшись газет, летал во сне таким манером над горящим городом, и должен со стыдом признаться: наряду со страхом и отвращением испытываю невероятную зависть к этим бесстрашным и безжалостным летающим людям. Что они – другой породы, что ли? Отчего они не боятся? Отчего им не жаль? Отчего не дрожат их руки и не замирает сердце? Какие у него глаза и как он смотрит, когда, склонившись через перила цеппелина (или как там), разглядывает он ночной, освещенный пожарами, дымящийся город, прицеливается, соображает?

Не могу представить, читаю, как сказку, а в душе все где-то не верю, что это правда. А если правда – то зачем я на све-

те? Отсталая баранья порода. Во сне летаю, а наяву все ищу места, куда бы я мог спрятаться в случае чего, с вожделением смотрю на проходные ворота. Помню, давно, еще до войны, пролетал над Невским наш дирижабль, и мы все выскочили из конторы, любовались его блеском в солнечных лучах и парением в воздухе, на этой головокружительной высоте; остановились и прохожие, задрали головы, и среди них один хмельной чиновничек в форменной фуражке, с горлышком водочной бутылки, торчащим из кармана. Поглядел он, прищурившись, на дирижабль, примерился, видимо, и сказал громко:

– Тут нужен человек непьющий!

И убежал. Тогда мы все смеялись, а сейчас я представляю себе это «небо в огне над Антверпеном» и думаю: какой же здесь нужен человек? Пьющий или непьющий? Нет, не могу принять этой новой фигуры, взлетевшей под облака, чтобы оттуда зажаривать бомбами. Вижу в его образе какого-то нового деспота, который все и всех презирает и всем желает помыкать. Мало ли их и прежде было на свете, этих безжалостных, которым все едино, что яйцо разбить, что человеческую голову! И если уж на то пошло, то предпочитаю остаться бараном, отсталой породой – режьте, если вам угодно, вот мое горло. Пожалуйста, не стесняйтесь!

А мысли все возвращаются к Антверпену. По-видимому, этот город похож на наш Петроград, большой и красивый, и много в нем воды, которая теперь отражает пожары и течет

кровью среди ночного мрака. И небо в огне. Боже ты мой,
боже ты мой, что делается на свете!

28 сентября.

Взяли Антверпен.

Октября 2 дня.

От осенней ли слякоти и темноты, от всей ли этой чепухи, но последнее время ужасно дурное настроение. Ничто не радует, и под ложечкой ощущение непрерывной тошноты, как при болезни. На трамваях каждое утро отвратительная хамская давка, то ли народу прибавилось, несмотря на войну, то ли трамваев меньше пускают, но всякий раз выходишь помятым и оскорбленным, как из пьяной драки. Крайне неприятно действуют и эти бесчисленные и порою довольно-таки нагловатые сборщики и сборщицы со своими флажками и цветочками. Особенно наглы подростки, которых родителям следовало бы дома держать, а не пускать на улицу.

Господи! Само собою понятно, что я отнюдь не отказываюсь вносить мою лепту, делаю это даже с удовольствием, насколько позволяют мои ограниченные средства рабочего человека, но меня оскорбляет именно это недоверие к моему чувству долга и гуманности, эта неприличная назойливость, с какою некоторые, чуть не все, заглядывают в глаза, в самый зрачок и допрашивают тебя о кошельке. Идешь по улице, и впечатление получается такое, будто всем стыдно смотреть друг на друга, и все поскорее отворачиваются, чтобы чего-то не заметить; а между прочим, я и сам не пропущу ни одного человека, чтобы искоса не заглянуть: а приколот ли у него значок? Так же, вероятно, и на меня косятся.

Это уж даже и не в кошелек заглядывание, а в самую душу, чего я решительно не могу ни одобрить, ни допустить. Моя душа – это моя душа, и единственный ее господин это я. Государство или отечество, как там угодно, может распоряжаться моим телом, поскольку это предусмотрено законом, но никто, даже сам Петр Великий не имеет права влезать ко мне в душу и там наводить свои порядки, как бы великолепны они ни были. А вместе с тем необходимо признать это печальное явление, что с моей душой вообще как-то перестали стесняться и разгуливают по ней, как по Невскому.

Например, наш сегодняшний дикий спор с Сашей. Я всегда гордился своей гуманностью, которую считаю обязательной для интеллигентного человека, и никогда не делал различия между национальностями, немец ли это, француз или даже еврей. А между тем и эти газеты, и вся наша контора вот уже два месяца стараются внушить мне, что я должен ненавидеть немцев, и вот сегодня то же самое в чрезвычайно грубой форме заявила Саша: «Если ты еще и теперь любишь немцев, то ты настоящий подлец!»

– Но позволь, – говорю я, – кто тебе сказал, что я их люблю? Просто, как гуманный и культурный человек, я не могу ненавидеть человека, кто бы он ни был.

И она засмеялась!

– Хороша гуманность! А будь Павлуша не мой, а твой брат, так заговорил бы иначе. И я удивляюсь, зачем мама ходит сюда, где так горячо любят ее сына!

И при дальнейшем разговоре с невероятной грубостью бросила мне оскорбление, что я трус, предатель и счастлив, что могу не идти на войну по моему возрасту. И это – после всех наших разговоров о войне, которую она осуждает так же, как и я, после того, как только еще на днях она советовала мне полечиться ввиду моего желудка и частых перебоев сердца... хорош воин!

Само собою понятно, что я с ней нынешний вечер не говорю и буду два дня молчать в виде наказания, но толку от этого получится немного.

Вообще эта война начинает слишком сильно действовать на нервы, нет никакой возможности избавиться от нее хоть на день. Пробовал я не читать газет, но оказалось совершенно невозможным, да и газетчики кричат, да и в конторе целый день разговор около карты, и все это прямо ужасно. Уехал бы куда-нибудь, имей я средства, ведь есть же такие уголки на свете! А здесь, среди этого всеобщего ошаления, нет никакой возможности сохранить себя и спасти свою душу от мучительной заразы. Повторяю, не я хотел этой войны, я осуждаю и проклинаяю ее со всем «смыслом» – и почему я обязан все-таки думать о ней, знать, каждый Божий день читать об этих бесчеловечных ужасах?

Будь я бесчувственный негодяй, но я, при всей моей скромности, человек порядочный, обладающий большой чувствительностью, и я не могу не только оставаться равнодушным, но и не страдать ужасно от всех этих невыносимых

терзаний. Ведь мало того, что убивают тысячами, сотнями тысяч, а еще и убивают как-то особенно, с каким-то дьявольским вывертом, грохотом, ревом, огнем; пока придет смерть, еще тысячу раз напугают человека до сумасшествия, всю его душу измочалят своими фокусами и неожиданностями! Что из того, что я живу на Почтамтской и ни разу не видал, как стреляют из пушки, когда все равно – мне и так становится все известно через газеты, через рисунки, через разговоры.

И зачем я должен страдать, кому это надо? Осуждайте меня как хотите, но будь у меня такая сила... заколдовать себя, заморозить, загипнотизировать, я без колебаний сделал бы это и ни разу даже не взглянул бы в ту сторону, где война. Кому нужно, чтобы и я, не участвуя в войне, тоже страдал, терял сон и здоровье, способность работать?

И как прискорбно, как мучительно, что Саша этого не понимает! Ведь если бы она вдумалась, она поняла бы, что мое здоровье нужно для всех нас, что если я начну ненавидеть немцев и так же, как и они с мамашей, каждую минуту дрожать за Павлушу, то что от меня останется? Вот и сейчас она заснула с чувством обиды и несправедливости, а я ведь не сплю и мучаюсь в моем невольном одиночестве! Ах, Саша, Саша! Разве мне легко? Называешься человеком, а всякой собаке завидуешь, что она лает себе на прохожих и не знает, что там господа немцы выделывают с господами русскими, и наоборот.

И нет такого темного чулана или чердака, куда бы спря-

таться, как маленьким, бывало, прятался от вотчима. Камо бегу от духа твоего? Можно еще порадоваться, что снов я с детства не вижу и хоть во сне черпаю некоторый отдых и забвение, но зато с первой же минуты пробуждения порою уже готов лезть на стену от этого невыносимого раздражения, зудящей какой-то, по всему телу ползающей тоски. Да и плох становится сон, все точно прислушиваешься к чему; кстате же, и Саша спит беспокойно, вздрагивает, стонет, раскидывает руки. В конце концов, женщина – и жалко ее.

От Павлуши известие, что он в каком-то прикрытии, и хоть с этой стороны мы можем на некоторое время успокоиться; и сегодня я даже рассердился немного на мамашу, Инну Ивановну, которая, по-видимому, не понимает, что такое прикрытие, и продолжает с нелепым упорством читать списки убитых, ожидая встретить там Павлушу. И напрасно ей говорить, что списки эти старые, она ничему не верит, а может, уже и помешалась слегка, что-то похоже.

Вообще на редкость неприятный день. В конторе поляк Зволянский горячо ораторствовал по поводу возможного выступления Турции и выражал глупейшую радость, что проливы и Царь-Град будут наши. А я глядел на него молча, с легкой улыбкой, и думал: «Дурак ты, дурак! Радуйся, что еще Петроград-то твой, а уж с Царь-Градом заботы оставь!» И тут же представилось мне, что сидит в Константинополе какой-нибудь турок Ибрагим-бей, по-нашему Илья Петрович, и в ус себе не дует, что не нынче завтра наши умники

и его толстый живот возьмут на прицел. Но попробуй скажи им это!

В нашем доме за счет квартирантов открывается небольшой лазарет, на пятнадцать кроватей; я, конечно, тоже вношу свою лепту.

Ах, Саша, Сашенька ты моя!

Октября 16 дня, Петроград.

Турция открыла военные действия против России. Война!

Октября 17 дня.

Как это случилось, не могу взять в толк и до сих пор, но вчера я примкнул к манифестантам, носившим по поводу войны с Турцией флаги и портрет, и часа три шатался с ними по всем улицам, пел, кричал «ура» и вообще отличался. Герой! Боюсь только, что герой наш простудился: сегодня что-то побаливает шея и затылок, было холодно без фуражки. А дома застал целое собрание: Николая Евгеньевича с женой и адвокатом Киндяковым, с которым они неразлучны, Сашенькину подругу, акушерку Фимочку, и еще кой-кого, всего человек семь.

На радостях достал четыре бутылки вина, которое мне еще в августе добыл пан Зволянский, и мы блестяще его распили. Конечно, не от вина, а от событий все были необыкновенно возбуждены, спорили, кричали, смеялись над Турцией, потом под пианино, на котором играл Киндяков, пели гимны. Лег только около трех часов, так как пришлось еще провожать домой Фимочку. Хорошо, что хоть днем сегодня прикорнул, а то бы совсем раскис.

Первый раз в жизни участвовал я в народной манифестации и, нужно признаться, испытал весьма интересное и сложное чувство, которое навсегда останется в моей памяти. И как это ни смешно покажется людям опытным, для меня самым интересным и необыкновенным было то, что шли мы

не по панели, а по мостовой, где никогда не ходят, и что не только извозчики, но даже трамваи и автомобили давали нам дорогу. Это обстоятельство, а также флаги, наше громкое и самоуверенное пение и то, что нам козыряли городские и военные, придавало нам большую важность и создавало такое впечатление, будто и мы так же воюем и похожи на какое-то внутреннее войско. Среди манифестантов были и военные, и один из них, отставной адмирал, старичок, все пытался командовать нами и заставить нас идти в ногу; иногда это удавалось ему сделать с ближайшими, и тогда и пение становилось ровнее и еще больше становились мы похожи на солдат, идущих в сражение. А как хорошо пелось! И какая испытывалась уверенность в победе, в нашей несокрушимости и силе!

Но оттого ли, что мы так необыкновенно шествовали по мостовой и город представлялся взорам с какой-то новой стороны, во мне опять, как и в первый день объявления войны, произошло внутреннее перемещение и наряду с восторгом все время чувствовался тот же самый, необыкновенный и ни на что не похожий страх. Отдаленная Турция и самая война так приблизились, что буквально рукой подать, и вместе с приближением этим все стало непрочное, ненадежное, точно каждую минуту готово провалиться в преисподнюю. И опять не сами турки были страшны, мы их до последней степени презирали и даже жалели за глупость, а что-то другое, чего я положительно не умею объяснить. Вот эта самая

непрочность, что ли. Сегодня, идя утром на службу, я видел, как на полке везли куда-то, очевидно для посадки, небольшие деревья, у которых корни с землею были заключены в маленькие корзинки; они покачивались на полке и, вероятно, тоже удивлялись, что едут, испытывали, как и мы, эту самую непрочность. Когда их снова посадят в землю и они укрепятся, их положение станет естественным, а пока, между той землей и этой, они должны чувствовать себя очень странно.

И положительно, не могу с уверенностью сказать, от чего я громче орал «ура»! – от восторга или от страха. Сам ору во всю глотку, со всею добросовестностью, а сам думаю: «Боже мой, Боже мой! – где же всему этому конец?»; взгляну на дома и людей, взгляну на небо, откуда начало моросить, а там все серо и мглисто... и ничего нельзя понять в происходящем на свете! Как будто и то же небо, и дома те же, что знаю с детства... но что же тогда случилось, если и дома, и люди, и небо все те же? Дошло под конец до того, что сам себе стал казаться удивительным и даже незнакомым, и захотелось в зеркало посмотреть, чтобы увидеть, как я раскрываю рот и ору, какая у меня физиономия.

Сегодня я уже не восторгаюсь и не боюсь, и меня колом не заставишь разинуть рот для пения или крика, но зато появилась в душе какая-то тянущая тоска, почти болезненная меланхолия. Господи! Кому это нужно? Конечно, как русский, любящий свою родину, я не могу не радоваться, что проли-

вы и Царь-Град будут наши, но и здесь в глубине сердца не могу не чувствовать некоторых сомнений: ведь жили же мы без Царь-Града и не жаловались. А что моего турка, пузатого Ибрагим-бея, убьют, в этом нет ни малейших сомнений, и мне его ото всего сердца жаль.

Почему-то этот толстый турок, мне кажется, похож на меня, хотя я сам вовсе и не толстый; и как-то обидно, что он никого не трогал, а его самого все-таки тронули. Конечно, теперь он разъярится, как и все, турки народ свирепый, но ведь так и самую тихую собаку можно раздражить до бешенства, станет бросаться и на хозяина. Но зачем было разъярять? Нет, что бы ни пела наша контора, а все больше мне не нравится, что война.

Сделал сегодня глупость и пробовал объяснить моей Лидочке, что такое война и что такое Турция, даже показал ей на карте. Конечно, она ровно ничего не поняла, и больше всего ее заинтересовало, что так много воды, а потом она и меня отвлекла от газеты, настойчиво требуя, чтобы посмотрел, как она прыгает. Прыгай себе, прыгай, Божье дитя, и радуйся, что ты не бельгийская или не польская девочка, погибающая в огне или от бомбы из облаков.

Стыдно подумать, что и детей так же убивают.

Октября 20 дня.

В городе ходят ужасные слухи, что Варшава взята немцами. В конторе все приуныли, а на пана Зволянского прямо жалко смотреть.

Дома также большие неприятности. Во-первых, к нам совсем переехала на житье мамаша, Инна Ивановна: у Николая Евгеньевича вышел грандиозный скандал с женой и с адвокатом Киндяковым, и они разъехались; от Сашеньки знаю, что Николай стрелял из револьвера в Киндякова, но, слава Богу, не попал, и дело замяли. И еще счастье, что в тот вечер мамаша была у нас и почему-то осталась ночевать, так что всей истории не видала. Не могу понять, как в такое время можно заниматься ревностью и всякими любовными счетами; на душе и так уже не остается живого места, а тут еще один интеллигентный человек палит в другого... возмутительно! Позорно! Теперь Николай Евгеньевич уехал на Кавказ, а жена его треплется с Киндяковым, хочет в актрисы или что-то в этом роде.

А так как уже три недели нет известий от Павлуши, то можно представить, что за настроение в нашем доме. Сам по себе срок этот не велик (принимая в расчет медленность и неисправность военной почты), но Инна Ивановна ничего не хочет или не может соображать и производит ужасное впечатление своей подавленностью. Вдобавок она еще очень

стесняется, не то даже боится меня, ей все чудится по ее старушечьему самолюбию, что она не имеет права жить у нас, и когда я от всего сердца начинаю успокаивать ее относительно Павлуши, указывать на неисправность почты и прочее, она поспешно соглашается и смотрит на меня так пугливо, словно я в замаскированной форме предлагаю ей выехать из нашего дома. Раз не выдержал и сказал ей:

– Да как же вам не стыдно, мамаша, так думать? И в какое положение вы ставите меня? Я вам единственно добра хочу, а вы смотрите на меня такими глазами, будто я германец из Берлина!

Испугалась еще больше... вот чепуха! И без меня, как рассказывают, она по целым часам плачет, а при мне даже улыбается и шутит, хотя по тому одному, как она путает слова и предметы, видно, что у нее на душе. Вот и сейчас: сама принесла мне и подала стакан кофе, а сахар забыла, и просто мучительно принимать услуги от такой древней старушки, которая и сама-то еле передвигается на своих исхоженных ногах.

Но самое мучительное, до глубины души волнующее меня, это моя добрейшая Сашенька, с которой просто не знаю, что и делать. Вот тема, о которой только и возможно говорить что в дневнике. Дело в лазарете, устроенном в нашем доме на средства квартирантов, в том числе и мои. Но горе не в деньгах, хотя их таки маловато, а в том, что с первой же прибывшей партии раненых Сашенька всем своим жен-

ским сердцем прилепилась к лазарету и ныне уже считается штатной сестрой милосердия или, вернее, сиделкой, так как никакого курса не проходила.

Казалось бы – что можно возразить против такой доброты и истинно христианского милосердия? И все знакомые хвалят Сашеньку, и солдаты ее любят, и сама она испытывает известное удовлетворение... и я молчу и соглашаюсь. Что же мне делать, как не молчать и соглашаться? Ибо, что я ни говори и как ни велика будь моя правда, мне не только не поверят, а еще осудят, оскорбят тяжкими подозрениями, немедленно возведут в чин эгоиста и самодура. Человек, который запрещает своей жене работать в лазарете! Да и как это докажешь. Раз людям выгодно, чтобы женщина не своей семьей занималась, а на них служила и штопала рвань, которую они изволят создавать.

А между тем, говоря по самой строгой моей совести, не могу не заявить, что Сашенькин подвиг в лазарете – есть чистая безнравственность, дурной и предосудительный поступок: нельзя целиком отдавать себя милосердию, оставляя близких своих в пренебрежении. Нельзя! И какое же это будет милосердие, если одних она жалеет, а других, не менее беспомощных и безвинных, она забывает.

Даже здесь как-то неловко говорить со всеми подробностями. У меня дурной желудок, и, чтобы оставаться для семьи настоящим работником, а не инвалидом, я нуждаюсь в нормальном питании, а наша Аксинья, предоставленная са-

мой себе, кормит меня сплошь такую дрянь, что уже два раза у меня делалась холерина, колики и спазмы. Конечно, что такое желудок какого-то Ильи Петровича перед громами и ужасами войны, перед страданиями раненых, обездоленных и осиротевших... стыдно даже говорить! Теперь даже и доктора к таким болезням относятся пренебрежительно. Но если принять в расчет, что Илья Петрович такой же человек, как и те, и что всю свою жизнь он честно работал не только на себя, но и на других, и теперь продолжает содержать семью и маленьких детей, то и его желудок, смею это утверждать, заслуживает серьезного внимания и попечения.

Допустим, однако, что я как-нибудь устроюсь с своим презренным желудком, буду слегка голодать или что-нибудь такое – но дети? Ведь у нас трое, и старшей, Лидочке, нет полных и семи лет (я поздно женился), а бонна наша, она же и горничная, безграмотнейшее и бестолковейшее существо, способное с чистой совестью отравить или простудить ребенка. Недавно так и было с Петей, промочившим ноги и потом три дня пролежавшим в жару; младший, Женя, тоже нехорош: отказывается почему-то есть, заметно похудел и побледнел, а что я могу сделать с ним, когда я ничего не умею с детьми? Когда же я указываю Сашеньке на детей, на их воистину жалкое положение, она коротко говорит: «Скажи мамаше, она все устроит». Это мамаша-то! Инна Ивановна, которую ветром качает, как белую пушинку, которая и во сне и наяву видит только своего Павлушу в окопах! Не спо-

рю, была во время оно и мамаша работницей в доме, но куда ж ей теперь... да и не бессовестно ли взваливать на старуху такую непосильную тяжесть? На ее старушечьи бесплодные старания мучительно смотреть. На днях вздумали с нею поиграть детишки, или она сама затеяла это, но вышло так, что они повалили ее на пол и чуть, самым невинным образом, не удушили ее, не заиграли, как котенка. Когда я освободил ее, она заплакала, да и я взволновался, глядя на ее взлохмаченную детьми, трясущуюся голову.

Плохо, плохо! Нехорошо поступает Сашенька, не по совести и не по праву. Не мы с нею хотели и затеяли войну, и не имеет права эта проклятая война врываться в наш дом, как грабитель, и опустошать его. Достаточно и тех мучений и жертв, которые мы покорно несем, будучи совсем неповинны, и нет смысла самим еще бросаться ей под ноги, как индусы бросаются под колесницу Джагернаута, своего злого бога. Не признаю я злых богов, не признаю войны, и чем больше твердят мне о каком-то ее «великом смысле», тем меньше вижу я смысла вокруг меня, даже в самом доме моем. Или и это смысл, что моя золотая крошка, кроткая Лидочка, уже носит тени печали на своем детском личике и, видя меня скучным и недовольным, старается своим маленьким умишком и слабыми ручками принести пользу по хозяйству, моет стаканы и нянчится с Женей? Ей самой нужны нянька и уход.

Плохо, плохо! Да и жизнь дорожает с каждым часом, про

извозчика и театр уже и не помышляем, да и с трамваем приходится осторожничать, больше уповая на собственные ноги; теперь уж не для притворства беру на дом дополнительную работу, спасибо, что еще есть такая. Пришлось и пианино отдать. А проклятая война как будто только еще начинается, только еще во вкус входит, и что там происходит, что делается с людьми, нельзя представить без ужаса.

Я уже не говорю про низшие необразованные классы, но и профессора, ученые, адвокаты и другие деятели с высшим образованием режутся насмерть, грызутся, как звери, совершенно осатанели и потеряли всякую человечность. Что стоит после этого наука и даже религия? Прежде, бывало, смотришь на профессора и думаешь: вот человек, который не выдаст, за которым как за каменной стеной – и не убьет, и не украдет, и не оскорбит, потому что все понимает. А теперь и он стал таким же ужасным, как и все, и решительно не на кого положиться. Воистину, как говорится, вся душа трясется, словно бараний хвост!

Решительно протестую я и против того утверждения, будто все мы виноваты в этой войне, а стало быть, и я. Смешно даже спорить! Конечно, по их мнению, я должен был всю жизнь не пить и не есть, а только орать на улице «долой войну!» и отнимать ружья у солдат... но интересно знать, кто бы меня услышал, кроме городского? И где бы я теперь сидел: в тюрьме или в сумасшедшем доме? Нет, отрицаю всякую мою вину, страдаю напрасно и бессмысленно.

Маленькая новость: Андрей Васильевич, мой будущий читатель, сразу получил два Георгиевских креста. Сашенька по дружбе к Андрею Васильевичу до крайности гордится этим обстоятельством, а я только осмеливаюсь спросить: вы сами довольны, Андрей Васильевич?

Ноября 2 дня.

Вот извольте: поговорил по душам!

С некоторого времени, сколько я ни покупаю папирос, а их все у меня нет; никто из домашних не курит и, следовательно, – Саша таскает их в свой лазарет, раненым. Не запирать же мне столов, как от вора! Но попробовал я сегодня только намекнуть Саше и в ответ получил:

– Можешь сам не курить, а раненым носить я буду!

И так жутко посмотрела на меня, что не любовь, а ненависть, словно к врагу, прочел я в этих родных глазах. Так стало мне тоскливо и холодно, будто сижу я в самом настоящем окопе под дождем и прямо в меня целится проклятый немец. Конечно, завтра же куплю две тысячи папирос и разложу по всем столам, пусть не думает, что я жаден... но как она не понимает, что здесь не в жадности дело? Ах, Сашенька, Сашенька!

Ноября 6 дня.

Довольно часто захожу в наш лазарет, который теперь расширен на средства города и занимает целых два этажа, и бесполезно отравляю сердце видом раненых, безногих, безруких, слепых. Ужасное зрелище, после которого часа на два зубом на зуб не попадаешь, особенно когда прибывают свежие, как их называют сестры. А не зайти, не посмотреть – опять-таки прослывешь черствяком и мерзавцем; вот и отправляюсь в угоду общественному мнению!

Поразил меня своим рассказом один раненый, уже не молодой человек, из запасных. По его словам, он заранее, идя в строй, порешил никого не убивать, и вот, когда они бросились на немецкий окоп, в штыковую атаку, он во избежание соблазна по дороге бросил свое ружье. Прекрасно. Но когда он вместе с другими перешагнул эту роковую черту, то им овладели такая ярость и исступление, что он зубами – буквально! – загрыз какого-то немца, прокусил ему горло. Какой ужас! Но всего ужаснее то, что теперь по ночам, когда им овладевает бред, он яростно грызет свою подушку, воображая, что это немец, грызет и плачет, грызет и плачет.

Боже мой! – не случится ли и со мной того же! Недавно ночью, раздумавшись о войне и о немцах, которые ее начали, я пришел в такое состояние, что действительно мог бы загрызть человека. А Сашеньки нет, она и по ночам дежурит

в лазарете, и так мне страшно стало от себя самого, от ее пустой кровати, от мамыши Инны Ивановны, которая больше похожа на мертвеца, нежели на живого человека, от всей этой пустоты и разорения, что не выдержал я: оделся и, благо лазарет тут же в доме, пошел к Сашеньке.

Сашенька нисколько не удивилась моему ночному приходу и только попросила меня тише; даже добыла откуда-то и принесла мне стакан чаю. Улыбнулась мне. А кругом тихий ночной стон, и лампочки притушены, и только слышишь, как слабые голоса зовут: сестра! сестра! Потом повела меня к тому раненому, который грызет воображаемого немца; действительно, что-то бормочет, вся голова у него забинтована, и пальцами обеих рук тискает одеяло: «душит!» – сказала Сашенька. Дала ему попить, и на время успокоился, сложил руки невинно, как дитя, и затих.

Почти до рассвета оставался я с ними, а дома, на своей постели, долго не мог заснуть и несколько раз принимался плакать от жалости. Как представлю его забинтованную голову и эти бледные руки... тяжело!

Но неужели Сашенька права и это от жадности я не хотел давать папирос? Боже мой, какая гнусность! Ведь когда ночью тою я смотрел на раненого, я бы на колени перед ним стал, только бы он попросил у меня папироску, захотел курить своей измученной душою! Коротка память у человека.

Декабря 4 дня.

От Павлуши пришло сразу четыре письма, жив, здоров. Он опять в Пруссии. Конечно, и мамаша, и Сашенька, и сам я – все в радости и восторге, а вместе с тем подумать: до чего неразумен человек! Ведь после своего последнего письма Павлуша сто раз уже мог быть ранен или убит, а мы этого точно не желаем соображать и радуемся письму так, словно эта мятая бумажка с слабыми карандашными знаками и есть сам Павлуша.

Вот что он пишет между прочим:

«Что тебе еще сказать, милая Сашенька? Все здесь чрезвычайно интересно. В снежных сумерках смотришь на движущуюся массу людей и думаешь... снег... поле... Германия... великие события, великая война, – вот она передо мною, и я в ней. Приходит с позиции офицер, в полушубке, в валенках, в капюшоне – весь в снегу, все течет, и опять смотришь, как, раздевшись, греется он чаем, и думаешь: вот она, великая война, вот она, великая русская армия! И в последней, самой незначительной черточке нашего походно-военного быта чувствуется эта великость происходящего. Надо заметить, что всюду, кажется, на нашем фронте все военные операции приняли более медленный темп. Со снегом, с холодом все точно отяжелело, и особенно отяжелели люди. Закутаные, стали малоподвижны, медлительны. И тяжелое, са-

мое тяжелое время наступает. Вот сейчас я сижу у офицеров, пишу письмо и пью чай из стакана с подстаканником, но вот-вот затрещит телефон и... все меняется, как сон: переведут батарею на версту в сторону или вперед, придется рыть тугую, холодную землю, вырыть к ночи холодную землянку – ох, как холодно теперь в окопах! – и завалиться в ней спать, сырому и голодному. И это не выдумка, не воображение, – таковы почти ежедневные смены декораций. И ничего нет верного, и ни одного часа! Между прочим: ты знаешь, Сашенька, на что похож снег, на котором кровь? На арбуз... вот странно!»

А в другом пишет, как ночью, на позициях, в оттепель прикрылся мокрой соломой, а к утру хватил мороз, насилу отодрался от земли с своей соломой. Бедный Павлушенька! А мы прочли письма и радуемся.

18 декабря.

Ну и выюга сегодня! Несется по всем улицам, горы насыпала, все карнизы и стены побелила – стоят дома с белыми глазами, как замороженные судаки; и словно нет никакого города, а стоят эти дома нелепой шеренгой посередь чистого снежного поля. Проходил я мимо Исакия: на ступенях и за колоннами сугробы, и так холодны эти гранитные полированные колонны, что жутко на них смотреть. А людишки закутались и прут себе, натужившись, против ветра и по ветру, но больше дома сидят. И пришла мне мысль: что, если бы совсем не было у меня никакого дома и навсегда я должен бы остаться на улице? – можно с ума сойти. Каково теперь там?

Некогда писать дневник. Так завален сдельной работой, что и вздохнуть полной грудью не имею времени. Да и здоровье плохо, усталость, сонливость какая-то, сердце словно льдом обложено, насилу к утру согреешься под двумя тяжелыми одеялами. Хорошо еще, что квартира теплая.

Вот уже и Рождество на носу, а где конец войне? Вместо продажных елок на площадях маршируют и учатся солдаты, куда ни пойдешь, все они. Веселые, однако, и сам как-то подтягиваешься с ними. А на Дворцовой площади видел на днях прямо-таки странное зрелище, в первую минуту расшемившее меня. Учится их человек пятьдесят, и когда издали взглянул я – будто все они освещены солнцем. А солн-

ца нет, что за чудо? Подхожу ближе и невольно смеюсь: все до одного рыжие, с рыжими бородами, действительно, точно солнцем освещены. Но взгляделся я внимательнее, и затих мой глупый смех: бороды рыжие, а лица старые и бледные, в морщинах, и в глазах не веселье, а самая форменная тоска, должно быть, запасные, семейные. Потом узнал, что рыжих подбирают для какого-то полка или гвардии.

Зарабатываю денег побольше, чтобы на Рождество вытаскать Сашеньку из лазарета, взять детей и проехаться дня на три куда-нибудь в Финляндию. Хоть от газет отдохнуть. Устал. И такая темень в комнатах, словно все мы слепнуть начали; едва желтые лица разглядываешь. Устал, устал.

Понедельник, 22 декабря.

Павлуша убит. Господи!

Ночью.

Павлуша ты мой, Павлушенька! Мальчик ты мой неоцененный, братик мой миленький! Был ты мне чужой, и мало я ласкал тебя, не знал, что умрешь ты, не поживши, а теперь на что тебе мои горькие слезы. Где твои кроткие серые глаза, твой смех нерешительный, твои усики, над которыми мы смеялись? Убит, и никак я не пойму, что это значит, что это значит. Убит!

Голубчик ты мой! Друг мой! Защитник мой! Лежишь ты и не слышишь. Ты писал, что холодно тебе... взял бы я и обнял тебя крепко обеими руками моими, все тело бы твое закрыл, все тепло отдал бы тебе, мальчик ты мой одинокий! И не узнать тебе, чем кончится эта война, а как ты интересовался...

Павлуша! Павлуша!

Часть II

1915 год

5 января 1915 г.

О смерти Павлуши мне сообщил его товарищ, вольноопределяющийся Петров. Видимо, боясь поразить внезапно матерью и Сашеньку, Павлуша заранее дал товарищу мой конторский адрес, чтобы уже я передал его близким родным ужасную весть. Никогда я не забуду того ужасного момента, когда, раскрыв конверт «из действующей армии» с незнакомым почерком и уже предчувствуя несчастье, я прочел эти короткие строки. Это было в конторе, и все мне сочувствовали, но что мне было от их сочувствия?.. Я сейчас же ушел домой, терзаемый мыслью: как я скажу Сашеньке и маме?

Уже дойдя до лазарета, где Сашенька, я внезапно повернул обратно и часа два без толку и понимания окружающего слонялся по улицам, даже зашел зачем-то в кофейню Филиппова. Или это день был такой снежный, но помню, что мне все казалось необычайно и сверхъестественно бледным; и еще странно было смотреть на людей и на трамваи, а когда трамвай звонил, то звон его мучительно отдавался в самом мозгу. Будто все люди молчат, а один трамвай звонит и зво-

нит, как сумасшедший. Но плакать я тогда еще не мог, мысль о Сашеньке и маме как бы сушила слезы.

Но что расписывать, и так понятно! Одно только скажу: лучше смертная казнь, лучше какие угодно пытки, чем матери сказать первое слово о том, что сын ее убит, умер. Случись это другой раз, кажется, скорее наложил бы на себя руки, чем пошел говорить и хоть раз взглянул бы в эти глаза, которые еще ничего не знают и смотрят на тебя с вопросом и верою. И как ни печально сейчас, как ни жаль мне до постоянных ночных слез кроткого Павлуши, я не могу не радоваться, что это все осталось позади и больше не повторится. И не знаю, насколько легче умереть самому, чем только видеть это!

Конечно, ни в какие Финляндии мы не поехали. На это время Сашенька покинула свой лазарет и, преодолевая собственное горе, все часы свои проводит возле Инны Ивановны. А про старушку что сказать? Не умерла, но и не живет. Я не понимаю этого состояния. Часа два аккуратно поплачет где-нибудь в уголку, потом либо пойдет вместе с Сашенькой панихидку служить, либо так без цели бесшумно ползает по квартире; а то вдруг примется стирать пыль там, где ее и не было. Кофе мне по-прежнему подает без сахара. Но вчера вдруг пропала, нету полчаса и час, что и думать, не знаем – а это она, оказывается, заперлась в ватерклозете: и не умеет открыть, но молчит. Ведь звали ее, кричали – притаилась и молчит, только когда дверь чуть не выламывать начали, ото-

звалась и подала голос. Но сколько ни учили ее через дверь, как открыть, сколько ни объясняли, она так и не сумела, пришлось идти в контору и звать домового слесаря. Сашенька упрекает:

– Да ты бы отозвалась, мама, ведь охрипли, тебя звавши!

Молчит – а потом плакать начала. Теперь еще стыдится, что ее Лидочка или бонна туда провожает, а одну пускать невозможно.

И это называется – праздники, Рождество! Ужасно. И днем еще терпимо, а ночью ляжешь и начинаешь, затаив дыхание, прислушиваться: кто первый заплачет на своей постели – Сашенька или мамаша за перегородкой. Случается, что до самого света тишина, будто спят, и сам успеешь заснуть, как вдруг задрожит и застучит кровать от рыданий... началось!

Последний раз видели мы Павлушу 4-го августа, еще на даче, когда и мамаша гостила у нас. Их полк из глубины Финляндии, где они стояли, отправляли на позиции, и вот Павлуша, между двумя поездами, на полтора часа забежал к нам. Было это уже к ночи, и как мы удивились тогда, расстроились, потерялись! Одет он был в тяжелую походную форму, с котелком и мешком, весь черный, запыленный, особенно пахнувший, неузнаваемый в своем солдатском виде, с короткими, но уже немного подросшими волосами. Лес они где-то там рубили, землю копали, и скорее пах он мужиком-лесовиком, нежели солдатом! Нам успел шепнуть: поздравили

с походом, идем к Варшаве, – а от мамыши на первое время скрыли.

Рассмотрел я и винтовочку его: стройная была, как бабышня, а номера не запомнил, хоть он и говорил. Да что номера: я и лица его не запомнил, знаю только, что было особенное; еще и другого я не сделал, о чем все время думал: не провел его по всей даче и не дал ему проститься с нею. Но как сказать:

– Павлуша, прости со всем... ведь тебя могут убить и больше никогда ты этого не увидишь!

Да и он, вероятно, думал о том же, но тоже сказать не решился; так на одной террасе, как с посторонним, и просидели, в комнаты даже не входили. Потом все провожали его на станцию, от нас недалеко, целовались крепко, но наскоро, и видели, как он старался влезть в отверстие товарного вагона, где в темноте копошились солдаты, шутили и смеялись... его новые товарищи. Очень скоро длинный поезд тронулся, солдаты из всех дверей кричали «ура!» – и все кончилось, наступила тишина. Почему я так помню именно этот красный удаляющийся огонек на последнем вагоне? Именно этот. И еще помню, как тихо было на дачах, когда мы возвращались домой.

А теперь он убит, и где его зарыли, мы не знаем. Не могу я этого вместить, не могу! Ничего не понимаю в происходящем, ничего не понимаю в войне. Чувствую только, что раздавит она всех нас и нет от нее спасения ни малому, ни боль-

шому. Все мысли повышибло, и живу я в своей собственной душе, как в чужой квартире, нигде места себе не нахожу. Какой я был прежде? Не помню.

Взял меня кто-то в свои огромные лапищи и лепит из меня какую-то фигуру странную... где тут сопротивляться!

17 января.

Ну и набрались мы страху сегодня! Вдруг пропала из дому мамаша, ушла с утра, и до самого вечера ее нет. Я был на службе, Сашенька по-прежнему стала посещать лазарет, а бестолковая бонна ничего объяснить не умеет, сама не заметила, когда ушла Инна Ивановна, и никому из нас не дала знать. Совершенно естественно было предположение, что ее, при ее рассеянности и невнимании к окружающему, задавил на улице трамвай или автомобиль.

Вызвал я Сашеньку, и принялись мы пороть горячку; пошел я на телефон, всех знакомых перебрал и уже во всех участках поспел справиться, как вдруг явилась мамаша. Оказывается, она изволила, ни слова никому не сказав, отправиться на конец Васильевского острова в гости к какой-то своей подруге, такой же старушке, как и она сама, и просидела у нее до вечера. Ведь придет же в голову!

Конечно, Сашенька сторяча ее побранила, а мамаша обиделась и расплакалась, насилу потом успокоили ее; ужасно стала обидчивая. Придется теперь караулить ее.

20 января.

Немцы вплотную принялись топить пароходы. Только и остается, что пожать плечами перед этими сумасшедшими поступками, выходящими за пределы всякого человеческого разумения. Есть какая-то злость в самих этих подводных лодках, которая принуждает их кусаться и разрушать даже без всякого смысла; дуреют, что ли, там люди от темноты и духоты, отравляются ядами и теряют всякое человеческое сознание? Наша контора возмущается, а я только в недоумении пожимаю плечами и чувствую свое лицо таким же дурацким, как и у немца, который топит. Что скажешь?

14 февраля.

Простудился и целую неделю сидел дома в жестокой инфлюэнце. Несмотря на болезнь, пожалуй, даже отдохнул бы, если бы не газеты, которые от безделья читал запоем, вдумываясь во все обстоятельства этого ужасного времени. Что пишут, что делается... невыносимо!

Особенно возмутил меня один милостивый государь, по какому-то недоразумению считающийся одним из корифеев нашей литературы. По самой строгой совести моей, его подлую статью я могу назвать только подлой и преступной, как бы ни восторгалась ею наша бестолковая контора. Безбожная статья! В самых трескучих и пышных выражениях, виляя языком, как адвокат, этот господин уверяет нас, что война принесет необыкновенное счастье всему человечеству, конечно, будущему. А про настоящее человечество он говорит, что оно со всею покорностью должно погибать для счастья будущего. Нынешняя война – это-де что-то вроде болезни, которая убивает отдельные клеточки в теле и вместе с тем весь организм ведет к обновлению; и пусть на том клеточки и утешатся. А кто же эти клеточки? А это, по видимости, я, Инна Ивановна, наш несчастный убитый Павлуша и все те миллионы убитых и истерзанных, кровь и слезы которых скоро затопят несчастную землю.

Недурно?

И выходит так, что мы, клеточки, не только не должны протестовать и возмущаться и чувствовать боль, а немедленно погрузиться в самое бешеное ликование, по тому случаю, что и мы пригодились. Ну, а если мы не захотим ликовать? Все равно, это дело наше, а война возьмет, сколько ей надо, пять или десять миллионов, и тогда наступит выздоровление и счастье. При этом особенно еще важно то – по словам господина писателя, – что и оставшиеся, перемучившись, в чем-то раскаются, поймут какие-то необыкновенные вещи, возлюбят друг друга и станут чуть-чуть не ангелами во плоти... Эх, взял бы я этого благовестника – да всыпал бы ему горячих, пока есть еще розги, пока еще ангелами не сделались! А то ведь ангела-то и неудобно будет разложить!

Так, значит, отныне я не Илья Петрович Дементьев, а клеточка, не смеющая даже рассуждать, чтобы не испортить общего дела. Нет, милостивый государь, я не клеточка, а Илья Петрович Дементьев, таким был, таким и останусь. Человек, со всеми естественными правами человека! И сколько бы вы ни приглашали меня весело умирать – вприсядку я умирать не стану, а если это и случится, если вы таки доведете меня до смерти или до желтого дома, то умру я с проклятием, с непримиримой ненавистью к убийцам. Нет, я не клеточка и ангелом по вашему рецепту делаться не хочу, а лучше останусь грешным Ильей Петровичем, который за свои грехи даст ответ Богу, а не тебе, ничтожный писателишка.

И для будущего человечества я не хочу погибать, не имею

на это ни малейшего желания! Если вчерашний человек страдал для меня, а я должен страдать для завтрашнего, а завтрашний будет страдать для послезавтрашнего, то где же конец, где смысл в этой бессмыслице? Нет, довольно этого обмана. Сам хочу жить и пользоваться всеми благами жизни, а не навозить собою землю для какого-то будущего джентльмена-белоручки... ненавижу его со всем его блаженством! Не нужно мне этого барина.

Клеточка! Так и знай, Павлуша, в твоей безвестной могиле на чьем-нибудь прусском огороде, что ты был не больше как клеточкой; и вы, Инна Ивановна, пожалуйста, успокойтесь и нарумяньте щеки; это не сын ваш умер и убит, а просто клеточка кончилась, и туда ей и дорога.

Нет, до чего надо возомнить о себе, до какого безбожия надобно дойти, чтобы человека с его святым именем приравнять какой-то клеточке! Даже только называть меня так ты не смеешь, бессовестный писатель, а если я умру, лишусь рассудка, погибну, то не выплясывай на моей могиле, не кощунствуй, а оплачь меня! Каждого оплачь, потому что больше не вернется он! Не возносись, что ты гордый писатель, а я маленький и никому не известный человек Илья Петрович – а всеми слезами твоими оплачь, всею жалостью пожалей, цветами укрась мою безвременную могилу!

Сколько бестолковой глупости в этой ихней арифметике: считать людей на миллионы, как зерно на меру. Самих себя этим дурацким счетом сбивают с толку: миллионы! Это для

зерна и огурцов есть счет, а для человека нет числа, это дьяволов обман. Всякий, кто людей не по имени называет, а считает, тот есть дьяволов слуга и обманщик: сам себе лжет и других обманывает – как только начнут людей считать, тотчас же теряют и всякую жалость, всякий рассудок. Для примера тут же в газете про одно боевое столкновение буквально напечатано: «Наши потери ничтожны, двое убитых и пятеро раненых».

Интересно знать: для кого это «ничтожны»? Для тех, кто убит? И интересно, что бы он сам ответил по этому поводу, если бы поднять его из могилы: считает он эту потерю ничтожной или же думает несколько иначе? Пусть бы он вспомнил все, с самого начала: и детство свое, и семью, и женщину любимую, и как он шел и боялся, и сколько было у него разных мыслей и чувств – и как все это прервалось смертным ужасом... а оказывается, все это и есть «ничтожная потеря». Так опомнись же, безбожный писатель, и пойми, кому ты служишь с твоей мудрой арифметикой, не ври относительно всеобщего благоденствия, в котором ты, как я вижу, ничего не понимаешь!

Разволновал он меня, черт его возьми совсем!

Дети здоровы. У Лидочки моей сразу выпали впереди два молочных зуба, и от этого ее личико стало еще милей и роднее. Приятно иметь ученую дочку: пока я хворал, она читала мне по складам свои сказки.

26 февраля.

Акушерка Фимочка сделала интересное наблюдение, что будто бы перед самой войною был в особенной моде красный цвет: и красные дамские платья, и ленты, и шляпки и что там еще носится этим прекрасным полом. Насколько могу и я припомнить, это совершенно верно, и невольно приходит в голову мысль: не было ли здесь какого-то страшного предчувствия, некоего многозначительного намека на предстоящие нам кровавые ужасы? Но если это так, то как были слепы те, кто считал красный цвет веселым, и в каком вообще мраке бродит человек! Зато теперь красного уже нигде не встретишь, точно все его повымело ветром или перекрасило дождями. В каком мраке бродит человек, даже одежду свою избирающий невольно!

Устал я. К дневнику не тянет, да и некогда, работы много. Проклятая война жрет деньги, как свинья апельсины, не напасешься. И как-то странно я себя чувствую: не то привык к душегубству, не то наконец притерпелся, но смотрю на все значительно спокойнее, прочтешь: десять тысяч убитых! двадцать тысяч убитых!.. и равнодушно закуришь папироску. Да и газет почти не читаю, не то что в первое время, когда за вечерним прибавлением сам бегал на угол в дождь и непогоду. Что читать!

Сашенька по-прежнему в лазарете, мало и вижу ее, и, ко-

нечно, все те же беспорядки в доме. Но и к этому привык, должно быть, почти уж и не замечаю, что ем. Мамаши как будто и в доме нет, перестал замечать и ее; да и тиха она, словно мышь. При общем невеселом настроении отвожу душу в занятиях с Лидочкой, сам с ней занимаюсь и читаю сказки. Прекрасная она девочка, истинное дыхание Божие, и в самые темные ночи наши теплится в доме, как лампадочка. Миленькая моя.

Наконец открою еще одну тайну, за которую серьезные люди отнюдь не похвалят меня... но и не сильно нуждаюсь я в их похвале, ей-богу! Акушерка Фимочка, бывши у нас без Сашеньки, видев мою скуку, научила меня раскладывать пасьянс. Правду говоря, занятие совершенно глупое и бесплодное, но, при дурном настроении, когда ни чтение, ни разговор не идут в голову, очень помогает и позволяет забыться. А иногда и увлечешься, про сон позабудешь! Пробовал я Инну Ивановну научить, да куда ей, ничего не понимает и почему-то даже сопротивляется, точно видит в этом какое-то насильственное совращение с ее страдальческого пути. Вместе с тем прочел я в календаре замечательное изречение: «Кто смолоду не научился играть в карты, тот готовит себе печальную старость». Да тут не только картам научишься!

Устал я.

6 марта.

Получил письмо от Андрея Васильевича. Выразив глубокое сожаление о смерти Павлуши, которого он очень любил, Андрей Васильевич извиняется, что не может много писать, очень занят и утомлен, а по поводу некоторых моих идейных сомнений и вопросов преподает неожиданный совет: поучиться у немцев! Вот выдержка из его удивительного письма:

«Германцев я не люблю, но поучиться у них нахожу для всякого не лишним, и особенно это полезно вам, тыловым. Полюбуйтесь, как строят немцы здание своей государственной жизни, какая у них мудрая способность самоограничения: зная, что из предмета, имеющего неправильную форму, стены выйдут плохими и непрочными, каждый немец добровольно придает себе форму как бы кирпича, стирает углы и выпуклости, мешающие кладке. А кирпич по самой своей форме уже дает устойчивость, если же прибавить еще цементу, то и получится настоящая крепкая стена, а не дырявая загорожа, как у нас. Не сомневайтесь, а учитесь у них, Илья Петрович!»

Слушаю-с. То был клеточкой, а теперь предлагают превратиться в кирпич. О том же, что я человек, настойчиво рекомендуют позабыть и Ильей Петровичем величают только за неимением номера: кирпич номер такой-то.

Допустим, наконец, что я стал кирпичом, – а кто будет архитектором? А кто будет вором подрядчиком? И должен ли я лежать спокойно, если г. архитектор вместо церкви или дворца вдруг пожелает построить публичный дом? Нет, Андрей Васильевич, не клеточка я и не кирпич, а как был Ильей Петровичем, так до самой смерти им и останусь. Клеточек много и кирпичей много совершенно одинаковых, а я один и единственный, и другого такого Ильи Петровича на свете не было, нет и не будет. И сколько есть у меня силы, столько я и буду себя отстаивать, не поддамся войне, не дам себя обкорнать, как ворону, на вашем трескучем барабане!

Очень сожалею, что был нетактичен и позволил себе обратиться с вопросом к человеку, столь занятому военным делом и не могущему не презирать нас, героев тыла.

10 марта, вторник.

Ура! Нашими войсками взята крепость Перемышль, и весь Петроград полон ликования. Какой счастливый, какой прекрасный день!

Когда еще по телефону из редакции мы узнали в конторе, что Перемышль взят, меня охватила такая радость, что я немедленно оделся и отправился на улицу... и еще никогда я не видал наш Невский таким красивым и веселым. Шел очень сильный снег, валил белыми хлопьями и засыпал прохожих, но из-под этого белого покрывала отовсюду глядели розовые щеки и смеющиеся, особым светом сияющие глаза. Да – даже порозовел петроградец! Конечно, немедленно образовались толпы, запели гимн и отправились к дворцу манифестировать; к сожалению, я не мог принять участия, так как надобно было возвращаться в контору.

Но какая радость! И только сегодня я понял, до чего были тягостны все предшествующие дни и месяцы, до чего все мы привыкли к безнадежному и длительному сумраку жизни и стали уже считать его вполне естественным состоянием. Даже странно оглянуться назад, на вчерашний день, который еще так близко: сумрак, длинные дни и ночи, потерявшие смысл: днем не живешь, ночью не отдыхаешь. Дурацкий пасьянс, Инна Ивановна, грязная и беспорядочная квартира, темная тоска и темный страх за завтрашний день: как ни

плох нынешний, а дай Господи, чтобы завтрашний не был хуже!

И в первый раз за всю войну (не знаю, чем это объяснить) я понял, что значит слово «победа». Да, это не кот наплакал, это возвышает, это всего человека со всеми его потрохами поднимает на необыкновенную высоту! Победа... и слово какое простое, и сколько раз его слышал и сам произносил, а только теперь вижу, что это за сокровище... победа! Так и хочется кричать на весь дом: победа, победа!

Само собою понятно, что я и до сих пор нахожусь в волнении. И странное дело: волнение радостное, а к глазам все время подступают горячие слезы: как вспомню, что мы русские, что есть на свете страна, которая называется Россия, так вдруг в носу и защиплет! Да что: увижу солдата на улице – и уже готов плакать от нежности к его серой шинели, улыбаюсь ему, глупейшим образом подмигиваю, вообще веду себя дурак дураком. Но все же особенно волнует меня слово «Россия», как будто и его я услышал впервые, а раньше жил и не догадывался, что живу в России и сам русский.

Очень странное и, несмотря на слезы, радостно-волнующее ощущение.

И все мне представляется почему-то поле и рожь. Закрою глаза и вижу ясно, как в кинематографе: колышутся колосья, колышутся, колышутся... и жаворонок где-то звенит. Люблю я эту птичку за то, что не на земле поет она, не на деревьях, а только в небе: летит и поет; другая непременно долж-

на усесться с комфортом на веточке, оправиться и потом уже запеть в тон с другими, а эта одна и в небе: летит и поет! Но я уж поэтом становлюсь: вдруг ни с того ни с сего заговорил о жаворонке... а, все равно, только бы говорить!

Еще одно странное обстоятельство: сегодня впервые после смерти Павлуши вслух и довольно много говорили о нем с Сашенькой. Как будто и его коснулась эта победа и он снова, в образе незримом, вернулся к нам, занял свое вечное место у нашего очага. Конечно, Сашенька немного поплакала, но это уже не были те одинокие и страшные слезы, от которых ночью дрожала и постукивала ее кровать. Решили завтра вместе сходить в церковь и отслужить панихиду; не люблю я этой процедуры, но в этот раз она мне кажется приятной и должной.

Наконец и еще одно приятное обстоятельство: в очень мягких выражениях я высказал Сашеньке мое неудовольствие по поводу лазарета, отнявшего ее у семьи; к удивлению, Сашенька не только не рассердилась и не вспыхнула, чего можно было ожидать по ее характеру, но обещала больше времени посвящать детям, жаловалась даже на усталость. Да и устала же она! – только сегодня я заметил, насколько она похудела и побледнела, сердце мое беспокойное. Но от этого стала она еще красивее, моя Сашенька, и теперь лишь я понял, что это так и надо для ее служения: когда умирает воин, то в образе склонившейся над ним прекрасной сестры он прощается со всею красотой и любовью, уносит этот

образ, как бессмертную мечту. И кто знает, сколько умиравших воинов, уже готовых проклясть погубившую их землю, даровали ей оправдание и прощение за один взгляд прекрасных заплаканных глаз!

Первый раз не жалею я сегодня, что Сашенька на дежурстве около своих раненых, и я один. Есть у меня к тому же и занятие: все думаю о победе... вот счастье! Трудно сосчитать, сколько раз читал я это слово в романах, исторических книгах и вот теперь в газетах, а лишь сегодня сообразил я, что это за обольстительный зверь, за которым охотятся люди с сотворения мира. Это самое: победа. И все ее хотели, и все ее хотят, и вот она у нас. Опять бы, кажется, пошел на улицу и на весь город затрубил в медную трубу: вставайте, победа! победа!

11 марта.

Заболела Лидочка. Что это, Господи!

14 марта.

Умерла.

10 июня.

Два месяца не касался я дневника, совсем позабыл о его существовании. Но сегодня достал и вот уже полчаса сижу над ним, но не пишу, а все рассматриваю последнюю страницу, где написано одно слово: умерла. Да, умерла, одно только слово, а кругом него обыкновенная белая бумага, и на ней ничего нет, гладко. Боже мой, до чего ничтожен человек!

А я помню, как я тогда писал одно это слово. И что было бы, если бы вместо этой гладкой белой бумаги, на которой нет ничего, кроме слабых каракуль, начертанных чьей-то человеческой рукой, – было бы зеркало? Такое зеркало, которое навеки отразило бы лицо человека, писавшего со всем его отчаянием и нестерпимой душевной мукой! А что здесь видно?

Друг ты мой, дневник! На твоих страницах стоит имя Лидочки, которое есть частица ее существа, и ты мой единственный друг и товарищ.

11 июня.

Скончалась Лидочка 14 марта, через четыре дня после взятия Перемышля, а заболела на другой день после этого ликования; и всего ее страшной болезни было трое суток. Аппендицит в острой форме. Но выяснился аппендицит, когда уже поздно было, а целые сутки я не мог достать доктора: все заняты в лазаретах. Пришел какой-то с улицы, посмотрел, повертелся и успокоил, сказал, что надо еще подождать, а пока опасного нет. Ребенок умирает, а он сказал, что надо подождать – и мы ждали. Еще кланялись ему и извинялись с глупым лицом, что напрасно побеспокоили и оторвали от важнейших дел. И в душе отчаяние, а ждем, все неловко беспокоить – а вдруг действительно пустяки? Друг другу улыбаемся, ободряем и, как дураки, сами себя улыбками обманываем. Наконец пришел хирург из Сашиного лазарета (тоже неловко было звать!) и сказал, что аппендицит и что поздно.

И как я мог поверить, и как я мог ждать! Это мою Лидочку, мою деточку оставить лежать в жару, стонать, страдать, умирать доверчиво – и самому ждать! Подлость, безумие. Смотрю в ее черные доверчивые глазки, целую осторожно ее пересмякшие от жара губки, поправляю ей волосики разметавшиеся, раз даже с одеколоном вытер ей мокрым полотенцем личико – и будто все сделал, что надо, даже успокоение чувствовал. А как она страдала, как ей было

больно. Ей, маленькой, и такую боль!

Правда, на третий день я был как бешеный, я кричал на докторов, я в морду бросал деньги и вопил: заплачу! заплачу! – я на глазах у какой-то дамы, думая ее разжалобить, бился головой о притолоку... даже не помню, где это, в какой-то приемной.

Да что!

Полдня я пропадал где-то, все искал, а дома уж и хирург два раза был, и уже сказал, что поздно. И операцию поздно, не стоит мучить ребенка. Потом я сам ее в гробик клал, нес от постельки до стола.

Вот и живу теперь, ничего, живу. На службу хожу, с знакомыми раскланиваюсь. Про войну читаю. Нас бьют и отовсюду гонят: и из Польши, и из Галиции. И Перемышль взяли обратно, даже поиграть как следует не дали. Жандарм Мясоедов Россию за 30 сребреников продал. Ничего! И не то чтобы ненавижу всех, а около того.

Но молчу! Молчу!

16 июня.

Как мне выразить мою тоску, мою тоску, мою тоску! Нет ни слов, нет ни слез, нет ни соображения, ни сознания. Так, что-то мучительное. Зачем-то в зеркало на себя подолгу смотрю, все стараюсь по лицу понять, что такое происходит. Смотрю и хныкаю, и ничего не уясняю. И там седой дурак, и здесь седой дурак. Поседел я.

17 июня.

Когда умирает высокая особа, то вывешивают черные флаги до самой земли, весь город затемяют, и всем понятно, что произошло. Или будь я настоящий человек с сильным голосом и даром высокого красноречия, я бы весь свет заставил плакать о моей Лидочке. А что я, ничтожество?.. только и могу, что мычать, как корова; да и корова больше себя покажет, всю ночь будет мычать, хоть спать кому-то не даст — а что я? Скулю себе полегоньку, повизгиваю за барской дверью... до первого барского окрика.

До чего я презренен. Клеточка!

Но позвольте вам рекомендовать один достопримечательный день, я бы памятник этому дню воздвиг, бронзовый монумент для назидания потомству. Это когда, пропустивши неделю после кончины Лидочки, я явился, как честный рабочий, в свою проклятую контору. Что и говорить, у нас все люди добрые и даже заметили, что я поседел: ах, как вы осунулись! И сочувствие горю выразили... но не то чтобы слишком сильно и неумеренно, а в привычной форме вежливости: ах, у вас, кажется, дочка умерла? Скажите, какая жалость!

Да, большая жалость. Ничего, работаю, пишу, считаю. Но вот заметили господа сочувствующие, что у меня на руке креп: ах, что такое? У вас опять кого-нибудь на войне убили? — Нет, почему же непременно на войне? Это относится к

моей умершей дочери Лидии.

– А!..

Разочаровались. А пан Зволянский в самой вежливой и приличной форме, под видом общего разговора, выразил ту мысль, что даже (даже!) и по убитым не следует носить траура, чтобы не действовать на общее настроение. Например: разрядился человек на прогулку, галстух и лакированные туфли, а тут на панели какая-то мрачная фигура седого человека в трауре... неприятно, все настроение портит! Конечно, такого примера г. Зволянский не осмелился привести, но смысл его совета был достаточно ясен: если уж по убитым, которые только и есть настоящие умершие, траура носить не следует, то чего заслуживает какая-то шестилетняя девочка, умершая своей естественной смертью. Мало ли их, этих шестилетних девочек!

И вообще в самой мягкой форме дали мне понять, что я совершаю явно неприличный поступок, вроде того, как если бы среди всеобщей трезвости я ханжи нализался. То же дали понять и встречные знакомые на Невском: ах, девочка!..

Но разве я порчу? Ни малейше. Наоборот, подчиняясь голосу общественного мнения, немедленно спорол креп и теперь ношу его в боковом кармане, чтобы никого не беспокоить и не портить чудесного настроения. Не смею беспокоить. Не имею ни малейшего права, как гражданин. Гражданин – или гадина?.. что-то я не совсем понимаю.

Но молчу! Молчу!

20 июня.

Льет дождь, а я хожу под зонтиком и размышляю, в чем самое главное? Самое главное в том, чтобы зарыть. Убить – это пустяки, это случается, главное, чтобы зарыть. Как только зарыт, так ничего не видно, и все хорошо. Нет, вы только подумайте, что бы это было: убито и зарыто сейчас что-то четыре или пять миллионов... и вдруг бы их не зарывали. Какая вонь? Сколько скелетов в разорванных мундирах! Какая тоска, и ничем не могу выразить ее. Все не то говорю, как дурак. И какой-то я длинноногий стал, иду и сам чувствую, что у меня длинные ноги. С ума я, что ли, схожу?

Того же числа, ночью.

Пусть я преступник, пусть я сволочь, злодей, все, что угодно, но, клянусь Богом! – мне нисколько не жаль ваших убитых и нет до них никакого дела. Не я велел убивать, сами убиваете и рвете на части друг друга, и пожалуйста! Сколько угодно!

До чего пуста наша квартира, и сколько в ней ужаса незримого. Прошлый год мы в это время на даче жили и ничего не предчувствовали. Лидочка была.

Смотрю я на своих Петьку и Женьку, что еще остались, и думаю: а не взять бы мне веревочку и, связавшись одним узелком, не прыгнуть бы нам сообща с Троицкого моста – да в воду? Ведь, ей-богу, они ни на что и никому не нужны. Так, клеточки какие-то, грязные и заброшенные. Чего-то плачут, Петя сегодня чуть голову себе о край стола не пробил, приходил ко мне, чтобы я его шишку поцеловал и пожалел, а я и жалеть не могу. Несчастные дети. Маменька их в лазарете за ранеными ухаживает, долг исполняет, папенька, как сатана, по улицам рыщет, покоя ищет, и сидят они с дурой бонной да с полоумной Инной Ивановной... существование!

Плакать не могу, вот мое мучение. Везде ищу слез и не нахожу. И как это странно устроен человек: кровь у себя могу открыть, стоит ножом кольнуть, а слезы единой ничем не выдавишь. Оттого и спать не могу, и дивана своего боюсь.

Я теперь в кабинете на диване сплю, т. е. корчусь и сохну целую ночь под белым светом. Окна у меня не завешены.

Вчера от бессонницы встал и с трех до пяти утра сидел на подоконнике, курил и глядел на мертвый город: светло, как днем, а ни единой души. Напротив нас другой такой же дом, и во множестве окон вверху и внизу ни единого движения, ни единого хотя бы намека на живое. Был я раздет, в одних кальсонах и рубашке, босой; так сидел, потом в таком же виде ходил по кабинету и казался себе сумасшедшим.

А днем – кабинет как кабинет, и я человек как человек. А если бы кто посмотрел на меня ночью? Я и сейчас босой и в одних подштанниках. Но зачем я все это пишу?

23 июня.

До чего я весь другой стал, даже удивительно! Никого мне не жаль, никого я не люблю, даже детей; и живет во мне одна только голая ненависть. Хожу по улицам, гляжу на людей и дома и думаю тихонечко, даже улыбаюсь: хоть бы вы все провалились сквозь землю! Сегодня протянул ко мне руку какой-то нищий, а я так на него взглянул, что от одного этого взгляда у него язык отнялся и рука опустилась. Хорошо посмотрел, должно быть! И плакать все не могу, даже не могу припомнить, как это делается. Да что слезы... так высох, что даже не потею, в самую жаркую погоду хожу без испарины. Весьма странное явление, докторов бы спросить.

Сегодня Саша обратила на меня свое внимание. Плакала, что я такой. А какой я? Удивилась, что я газет не читаю, а что нового могу я узнать в газетах? Про Мясоедова? Что убивают, жгут и топят, так это я без газет давно уже догадываюсь. Просто – не хочу читать. Спрашивает:

– Как твой желудок?

– Какой желудок? А разве у меня есть желудок? Ах да – ничего, благодарю. А как твои раненные?

– Они и твои.

– Нет, не мои, я их не делал.

– Отчего ты такой злой? – плачет. – Иленька!..

– Что, добрая моя Сашенька?

Рассердилась – и ушла в лазарет, даже дверью не забыла хлопнуть, как истинная любящая жена. Мне решительно все равно, но на детей такие выходы едва ли могут действовать воспитательно. Надо о них помнить.

Вообще даже странно подумать, что у меня есть жена – так редко мы видимся и говорим. Совсем закопалась в лазарет. В субботу к ним привезли так много раненых, что пришлось их класть даже на полу, и домой, к купанью детей, Саша не пришла. Это уже не первый раз. Обыкновенно в таких случаях их купает бонна, но тут почему-то вздумалось мне самому искупать Женю. Какой он худенький, все ребрушки под рукой, и такие мелкие косточки! Вытираю я это худенькое тельце и жиденькие волосенки, а сам все думаю: отчего я не плачу?

А тут, по неловкости моей, я как-то причинил ему боль, царапнул, что ли, и он заплакал; и вместо того, чтобы хоть здесь почувствовать жалость, я рассердился и отдал его бонне. Что со мною? Прежде таких, рассказывают старики, в церкви отчитывали и приводили в прежние чувства... а кто сможет меня отчитать? Пустяки.

И России мне не жаль, пусть кряхтит. И себя не жаль. И умри сейчас Саша, я, кажется, бровью не поведу. Вот, говорят, что-то вроде холеры у нас начинается... что ж, пускай холера. Пускай и чума, и мор, и землетрясение, мне-то какое дело?

26 июня.

Сенсационное происшествие в нашей конторе: поляк Зволянский пошел на войну добровольцем, чтобы собственно-ручно, так сказать, защищать свою Варшаву. Сперва думали, что это обыкновенная его сенсация, но оказалось вполне серьезно... кто бы мог ожидать от такого болтуна! Не из тучи гром, как говорится. Конечно, служащие устроили ему пышные проводы, на которых я не присутствовал, отговорившись нездоровьем. Пусть патриотствуют без меня, а косых взглядов и усмешек я не боюсь.

В частном разговоре со мною Зволянский в весьма высокопарных выражениях высказал ту мысль, что если он теперь не пойдет стрелять, то впоследствии его замучит совесть. Совесть! Положим, ему действительно очень больно за свою Польшу и строго судить его нельзя, но про совесть лучше бы и промолчать.

То-то много ее кругом, куда ни посмотришь, все совесть! Проходу нет от совестливых людей, даже оторопь берет меня, дурака. И грабят, и предают, и детей морят – и все по самой чистой совести, ничего возразить нельзя. Надо так, война! И кому война и слезы, а мошенникам купцам и фабрикантам все в жир идет... каких домов потом понастроят, на каких автомобилях закатывать будут – восторг и упоение! Их бы перевешать всех, а нельзя – а совесть-то?

Заметил я, что Инна Ивановна, старушка наша Божья, все ноги под юбку прячет, когда садится, поджимает их, как гусь. В чем дело? А оказывается, у нее башмаки до того растрепались, что пальцы наружу лезут: ползает ведь старушка! Говорю ей: да как же вам не стыдно, мамаша, отчего вы мне или Саше не скажете? Ну!

Заплакала и молчит. Так ни слова и не добился от нее; видимо, нарушил какие-то ее коммерческие соображения. Нет, право, смешно: экономить, рассчитывать, биться за каждую копейку, когда на твоих же глазах эта копейка, как по манию фокусника, сама лезет в купеческий карман. Фокусники!

Сам купил Инне Ивановне прюнелевые ботинки и торжественно преподнес, чувствуя себя благодетелем. Конечно, она опять прослезилась, а я смотрю на текущие слезы и думаю: хоть бы мне одну слезинку!

3 июля.

Получил тяжкую рану и скончался в Варшавском госпитале Андрей Васильевич, мой предполагаемый читатель. Царство небесное!

Вот и последнего читателя потерял, ни разу его не выдавши. Оно и хорошо. Один я, как в преисподней, среди танцующих чертей и грешников завывающих. И кому я нужен с моим дневником? Смешно даже подумать. Моя Саша, моя жена, давно уже знает, что я веду дневник, но ни единого раза не только не пожелала посмотреть, но даже малейшего любопытства не обнаружила... что дневник пишет человек, что подсолнухи лузгает, одна статья! Даже на мышь больше внимания обращается: хоть пустят в нее сапогом, когда скребется.

Да и какое право имею я, тля ничтожная, требовать к себе внимания и участия, когда там погибают ежечасно тысячи людей, да еще каких, не Илье Петровичу чета! И что бы это было, если бы каждая клеточка, приговоренная к гибели, вздумала кричать и устраивать скандал, как настоящий человек?

Видел сегодня на Морской беженцев из Польши... тоже фигуры!

4 июля.

Не могу я так существовать. Не создан я для зла и злобных чувств, а других нет в моей несчастной душе. И сна нет. Тлею внутри себя белым пламенем, как дерево, высыхающее на корню, на лицо свое искаженное опасаюсь взглянуть. Хожу до усталости, до полного изнеможения, до того, что ноги немеют и виснут, как чугунные; и сразу засыпаю, а в три часа, точно по барабану, вскакиваю испуганный и до пяти или шести сижу на подоконнике, вглядываюсь бессмысленно в такую же бессонную петроградскую ночь. Ужасный свет, ужасная ночь! И льет ли дождь и мочит стены, или солнце освещает трубы, все одинаково страшно для взгляда в этом мертвом и недвижимом городе: будто уже исполнилось пророчество и все люди погибли, и над погибшими напрасно и ни для кого светит ненужный день.

У противоположного дома очень гладкая и высокая стена, и если полетишь сверху, то решительно не за что зацепиться; и вот не могу отделаться от мучительной мысли, что это я упал с крыши и лечу вниз, на панель, вдоль окон и карнизов. Тошнит даже. Чтобы не смотреть на эту стену, начинаю ходить по кабинету, но тоже радости мало: в подштанниках, босой, осторожно ступающий по скрипучему паркету, я все больше кажусь себе похожим на сумасшедшего или убийцу, который кого-то подстерегает. И все светло, и все светло.

Не могу я так существовать. Вот оно что значит: «прошу никого не винить, жизнь надоела». Нет, пустяки, пустяки. Я нездоров, мне просто надо лечиться, что-нибудь принимать.

Лидочка, ангелочек мой, отпусти меня, дай мне слез, я о тебе плакать хочу. Я не могу быть таким. Умоли за меня Бога, ты к нему близко, ты в его глаза смотришь, попроси за отца. Девочка моя нежная, душенька моя, ангелочек мой, вспомни, как я тебя нес от постельки до стола и крепко, крепко, крепко...

8 июля.

Трудные дела. Спаси, Господи, Россию! Сегодня вся она с края и до края молится за свое спасение.

Стыдно теперь сказать, каким дураком отправился я сегодня к Казанскому собору на всенародное молебствие; и когда это со мною случилось, что я стал вдруг понимать и видеть, совершенно не могу припомнить. Помню, что поначалу я все улыбался скептически и разыскивал в народе других таких же интеллигентов, как и я, чтобы обменяться с ними взорами взаимного высокого понимания и насмешки, помню, что обижался на тесноту и давку и сам, не без ума, подставлял ближнему острые локти – но когда я поумнел?

Нет, никаким самым искусным языком нельзя описать этого зрелища, когда сотни тысяч людей отовсюду стекаются по улицам и переулкам и все к одному месту, чтобы сообща обратиться к Богу с своей молитвою. Вначале все невольно думаешь, что это какая-то шутка, что это нарочно, для какого-то парада, но когда людей все прибывает, а новые все идут, и уже трудно дышать, а они все идут – то начинает становиться так серьезно, что у меня холодными иголками закололо спину. В чем дело? – спрашиваешь себя, испытывая содрогание, а они и не слушают и не отвечают, а все идут... люди, люди, люди. И даже то, что они толкаются, не обращая на тебя особенного внимания, как и ты на них, становится

таким серьезным и важным, что всякая критика и вопросы невольно умолкают, и трепет обнимает душу. Значит, важно и нужно, если столько людей и с таким беспокойством собираются вкупе и зовут Бога – и мне ли, с моим маленьким умишком, спорить против них и допрашивать!

А тут, по соседству, многие плачут и не стыдятся, так что даже и слез не вытирают, как будто нынче было разрешено всем плакать при всех. «Какое наивное простонародье!» – еще успел дурацки подумать я, глядя на какого-то здоровенного плачущего мужика, должно быть дворника или извозчика, и вдруг чувствую, что-то помокрели и у меня глаза мои высохшие! И еще стыдясь, что кто-то заметит, еще не оценив, что и я плачу наконец, – мошеннически перевел я глаза вверх... а там такие небеса! Господи, Господи! – подумал я, – как ты далеко и как же ты близко.

И тут содрогнулся я весь, всего меня пронзило небесным огнем. Будто на невидимых крыльях поднялся я на высоту белых облачков и оттуда увидел всю ту землю, что называется Россией... и это ей, а не кому другому, угрожают такие бедствия, и это на нее идут враги с своим огнем и бомбами, и это за нее мы молимся, за ее спасение! А посмотрел опять на землю – и вижу людей, которые плачут, и такое множество их, и я с ними, и они меня не прогоняют прочь, а доверчиво прижимаются к моей груди... да где же я прежде был, безумный! И вдруг так я их всех полюбил, так люблю, что чувствую всем телом: нет, не могу больше, сейчас кричать

начну от любви. Мне и сейчас кричать хочется, как вспомню.

Да разве это выразишь? Напрасное старание. Вот сейчас, по прошествии всего нескольких часов, я уже не так ясно представляю себе, что такое Россия, и опять на географическую карту смахивает – а тогда так ясно понимал, и видел, и все чувствовал. Нет, я и сейчас понимаю, но рассказать не могу. Спаси, Господи, Россию, спаси ее, глупую!

Теперь пора бы и перестать, но слезы все навертываются. Пускай себе! А когда, придя домой, увидел я тишайшую Инну Ивановну, своими дрожащими руками вытиравшую Пете носишко, вспомнил ее Павлушу – не вытерпел я и зарыдал как ребенок. Стал на колени перед нею (в присутствии бонны, которая, впрочем, тоже плакала) и стал целовать ее немощные старческие руки... ох, как нуждаюсь я в прощении со стороны всех честных людей, которых столько оскорблял! Да, поплакали мы все основательно, основательно.

Бросаю писать по причине явной бестолковости, с какой растекаются мои мысли. И пускай их!

Ночью того же.

Опять не сплю, и так тревожно на душе. Холодно и знобит. Все о России думаю.

Но как остроумно устраивается человек и изо всего извлекает для себя выгоду. Научившись от народа любви к нему и России, что же я сделал первым делом? Поспешно направился домой, чтобы поскорее приласкать своих собственных Петю и Женичку, как будто в этом все дело и заключается. Впрочем, это желание было для меня уже чудом после всей этой холодности и жестокой сухости, с какою забывал я о самом ихнем существовании.

Накупил им ягод с лотка, чего уже давно не делал, и теперь боюсь, как бы не разболелись животики. Смущает меня Женичка: такой худенький и в глазах что-то Лидочкино, задумчивое. А какой был веселый ребенок... или и его коснулось?

Опять стало страшно. Нет, лучше в такую ночь лежать, если спать не можешь, а то ужасные мысли лезут в голову. Дети, Россия.

А Сашеньки так и не видал. Заходила днем, когда меня не было, а теперь, вероятно, дела не пустили. Жаль все же. Хотел я сам зайти к ней в лазарет, но так давно не был там, что показалось неловко. Ах, Сашенька, Сашенька ты моя!..

Так вот оно что значит: Россия.

16 июля.

Опять тоска и уныние. Словно просыпался я на минуту, увидел что-то, и опять забыл, и опять все тот же бесконечный и тягостный сон. Читаю газеты – страшно. А по городу ходят еще более страшные слухи, и в конторе рассказывают невероятные вещи, что Варшава уже взята, и многое другое, о чем лучше помолчать. Не верю я в нашу Думу, но все-таки хорошо, что созывают.

Жутко.

19 июля.

В городе уныние, и все прохожие такие скучные. Разве только какой-нибудь хулиган засмеется во все горло да с видом надменного равнодушия проплывет на толстых ногах грабитель купец или подрядчик. Этакие жирные скоты!

Быть может, сейчас, ночью, когда я пишу эти строки, германцы как раз вступают в нашу Варшаву. Закрою глаза и ясно, как в кинематографе, вижу их остроконечные каски, вижу, как идут они гордыми победителями по опустелым улицам, среди разрушенных зданий, освещенные этим вечным заревом пожаров. А сколько в нашей конторе смеялись над Вильгельмом с его притязаниями на Варшаву и т. д.! И пока дураки смеялись, немцы-то и пришли – вот они. Что теперь будет? И стыдно, и жутко, и не хочется никому прямо в глаза взглянуть.

Но как можно было прозевать и не заметить, что все это так опасно? Закрою глаза и вижу – идут остроконечные каски, пылают пожары, и прячутся по домам испуганные люди... а что прятаться! Вот сейчас представилось мне, что это не Петроград, где я сижу и пишу среди полной тишины, а Варшава, и за окнами по мостовой шагают немцы, входят в город... как это было бы страшно и невыносимо! И вдруг – дерзкий и громкий стук в дверь, открывайте, это немец пришел; осматривается, ходит по всем комнатам моим, как

у себя дома, расспрашивает, а в руках ружье, из которого не стреляет в меня только из милости. Как бы я смотрел ему в его голубые тевтонские глаза? И неужели я улыбнулся бы ему... правда, только из вежливости, но все-таки улыбнулся бы? Нет!

Чувствую, что не засну в эту ночь.

26 июля.

Собралась и заседает Государственная Дума – но что это, о Господи всех сил! Читаю я эти ужасные отчеты, перечитываю, глазами ем каждую строку... и все никак не могу поверить, что это не нарочно, а самая настоящая правда. Снарядов нет. Сказали, что будут снаряды, и обманули! Подумать только: снарядов нет... хороши вояки, голыми руками хотят удержать германца! Голыми руками, это только представить себе надо.

Но позвольте, господа: неужели это и есть Россия? Тут что-то не так, не могу я этого принять, не вмещаю. А как же молящиеся-то, те, кто молился и плакал на Казанской площади, звал Бога... как же смели они звать, если так? Или и они обманывали? А они звали, я сам звал, и слышал зовущих, и видел горячие слезы, и видел трепет души, но не тот позорный страх, который испытывает разбойник перед всевидящим оком. Или те, кто молились, само по себе, а те, кто обманывали, те само по себе? Ничего не понимаю, но одно знаю твердо и готов поклясться жизнью моих детей: это не Россия. Тут что-то не так.

Не могу передать того ощущения, какое я испытал, впервые читая речи наших депутатов. Точно немецкий чемодан разорвался у меня в самом мозгу и все вдребезги разнес, оглушил, ослепил и потряс до самого основания. Я и сейчас

словно не говорю человеческим языком, а бессмысленно лопочу и больше глаза таращу, чем правильно выражаюсь. Да и все, положим, таращат, не один я, грешный. Даже наша болтливая контора, где все вопросы решаются так легко и просто, ходит с вытаращенными глазами; почти и работу совсем забросили, сидят без пиджаков, как вареные раки, облитые кипятком, и только по десяти раз газету перечитывают и мальчика гоняют за прибавлениями. А потом начинают орать, стучать кулаками по столу и вопить:

– Нет, я говорил!

– А я что говорил? Не слушали!..

– Нет, это вы не слушали! Я говорил...

Я говорил, я говорил – все, оказывается, говорили, и беда только в том, что никто не слушал. А говорили все, и все знали, что так будет, все предсказывали... пророки конторские! А кто Царь-Град брал? А кто уже по Берлину гулял и даже галстуки себе выбирал на какой-то Фридрихштрассе? – я ведь помню.

И что для меня любопытно в наших конторских: накричат, наругают, наговорят таких ужасов и страстей, что, кажется, ночь потом не заснешь – а через минуту и развеселятся, любезничают друг с другом, почти хвастают: вот как у нас! И кто «Сатириконом» займется, а кто в складчину пошлет за какой-нибудь особо вкусной закуской и дружески поделит ее в задней нашей комнате, вдали от глаз начальства. Спасибо, что водки не достанешь... эх, контора!

Но кто меня еще удивил, так это моя Сашенька. Чувствуя неодолимую потребность поделиться этими новыми и страшными впечатлениями, я, естественно, прежде всего подумал о ней и даже успел представить себе, какой произойдет у нас разговор, серьезный, вдумчивый и какой-то важный; может быть, даже не говорить, а молчать будем, сидя рядом, но в этом молчании и откроется для нас самое главное. Оказалось же... что-то очень странное. Спрашиваю, вытаращив глаза: ну! читала? Она даже испугалась моего лица и голоса.

– Что?!

– Как что? Отчеты о заседаниях.

– Какие отчеты? Ах, да, читала... да некогда мне читать, так, просмотрела только. Бог знает что!

Сгоряча, еще не заметив, сколько было равнодушия в ее искусственном восклицании, я пустился в объяснения, говорил долго и очень обстоятельно, когда вдруг понял по всему ее задумчивому лицу, по опущенным глазам и какой-то незнакомой складке около рта, что она просто меня даже и не слышит и думает о чем-то о своем. Это меня обидело и даже возмутило... не лично, конечно, а в отношении того важного для всей России дела, о котором я говорил.

– В тебе совершенно отсутствуют гражданские чувства, Саша, – сказал я холодно и внушительно. Она покраснела, и так больно мне стало увидеть эту краску на ее бледном и утомленном лице.

– Не сердись на меня, Иленька, голубчик. Правда, я немного задумалась и не слыхала... да ведь и не так важно все это.

Я опять рассердился, даже крикнул:

– Как не важно! Одумайся, что ты говоришь. Только изменники, которые радуются гибели, могут говорить, что это не важно. Ведь у нас нет снарядов! Ты представь только: вооруженный немец походя, даже с улыбочкой, бьет нашего безоружного, покорного и кроткого солдата... или тебе не жаль?

Видимо, это поразило ее, и, широко взглянув на меня, она тихо и со страхом сказала: да, это ужасно! Но как же быть?

– Вот об этом все и думают, как быть, а ты говоришь: не важно. Страшно важно, Сашенька, важно до того, что можно с ума сойти.

Но в это время ее позвали к ампутированному, безрукому солдату, который отказывается есть, если не Сашенька его кормит; и, словно опять все позабыв, она равнодушно и виновато улыбнулась мне, поцеловала и наскоро, в ухо шепнула: не сердись, голубчик, я не могу... И ушла.

Что не могу?

29 июля.

Вот неожиданное происшествие: отыскался в Москве Николай Евгеньевич, наш дорогой инженер и свояк, и мало того, что отыскался, но еще прислал любезное письмо с предложением денег. Вспомнил почти через год, что у него есть мамаша, Инна Ивановна, и предлагает мне разделить материальные заботы о ее существовании. Но ни о Саше, ни о брате Павлуше, ни о моей Лидочке – ни слова.

Вскипел я – и уж такое письмецо ему закатил, даже Сашеньке ни слова о нем не сказал, не хочу огорчать ее. Ну и что же за мерзавец такой! По слухам, дошедшим до нашей конторы, я уже знал, что он занялся какими-то подрядами и поставками и заработал чуть ли не миллион... это тоже называется: заработал. И вот теперь этот грязный и бессердечный человек, погубитель России, великодушно предлагает мне один из своих тридцати сребреников – нет, Николай Евгеньевич, с голоду умру, если придется, но от вас копейки не возьму! В крови ваши деньги, гнусны они и липки, рук потом не отмоешь. И Инне Ивановне, матери вашей, непригоже существовать на ваши кровавые деньги: она сына потеряла в этой войне, милого, дорогого и честного Павлушу.

Боже! За что ты на нас, маленьких, обрушиваешь твой гнев? Накажи вот этих, накажи богатых и сильных, воров и предателей, лжецов и мошенников! До каких же пор будут

они глумиться над нами, скалить свои золотые зубы, давить автомобилями, открыто и нагло смеяться в лицо. Можно самому себе голову разбить от бессилия и отчаяния, видя, как они неприступны в своем бесстыдстве. Им говорят – а они смеются! Их стыдят – а они потешаются. Их умоляют – а они хохочут! Ограбили Россию, предали – и спят себе спокойно, как на самой лучшей подушке из гагачьего пуха.

Страшно подумать, что для них не будет наказания. Не должно быть в жизни того, чтобы подлец торжествовал, это недопустимо, тогда теряется всякое уважение к добру, тогда нет справедливости, тогда вся жизнь становится ненужной. Вот на кого надо идти войной, на мерзавцев, а не колотить друг друга без разбору только потому, что один называется немцем, а другой французом. Человек я кроткий, но объяви такую войну, так и я взял бы ружье и – честное слово! без малейшей жалости и колебания жарил бы прямо в лоб!

Какой смысл терпеть? Возмутило меня это письмо, всю душу перевернуло до дна. За что умерла и убита моя Лидочка, невиннейшая из невинных. Твой же цветок, Господи, из твоего же сада? Девочка моя милая, любимая бесконечно, дорогая бесконечно, разве ты была миллионом награбленным или плотской грязью, что взяли тебя и отняли, вырвали из моих нищенских рук?

Какое мучение, какое мучение... И как подумаешь, сколько сейчас человеческих сердец охвачено такими же муками, сколько возносится проклятий... а что дальше? Мучения –

а что дальше? Возносится... а дальше? Да ничего. Сдыхай, тля ничтожная, вот и все, что у тебя есть. Сдохнешь, тогда и отдохнешь. Мало ли их сдохло, этих Дементьевых, а тоже, небось, – проклинали! Роптали! Требовали! Думали, что так вот сейчас их и послушают и справедливость дадут, в золотую корону голову их оправят... а кто их помнит? Сдохни, только и всего!

30 июля.

Слежу за речами в Государственной Думе и каждый день точно все выше поднимаюсь на гору, откуда открываются перспективы. Но какие перспективы! А немцы, заняв Варшаву, идут все дальше... и где будет конец их страшному нашествию? Военные обозреватели говорят, что дальше крепостей Ковно и Гродны они не пойдут, застрянут перед их стенами, – но разве этого мало? Любопытное явление: мне кажется, что я почти физически ощущаю близость немцев и к каждому углу на улице подхожу с нелепым ожиданием: вдруг оттуда выскочит немец. И так ясно вижу его немецкое лицо, его каску с этим острием... почти слышу его наглые и требовательные слова. Избави, Господи!

Да, перспективы, перспективы, волосы дыбом встают от этих перспектив. Но почему я такой... ничтожный? Ведь я честный человек, но почему я раньше ничего не знал и не понимал, глядел на все с каким-то идиотским доверием, как зачарованный осел, если можно так выразиться? Почему я такой ничтожный? «Отечество в опасности» – какие невыразимо страшные слова: отечество в опасности. А при чем я тут, на кой дьявол нужен я этому отечеству? Любая лошадь в это страшное время полезнее отечеству, нежели я со всей моей гнусной честностью. Гнусно, гнусно.

Теперь уже со всех сторон слышится, даже в нашей скеп-

тической конторе: Господи, спаси Россию. Ну – а если Бог и не захочет вступить за Россию и спасти ее? Вдруг да и скажет: раз ты такая дура, и воровка, и мошенница, то и пропадай ты с твоими Мясоедовыми.

Что же: так тогда и пропадать всей этой земле, которая называется Россией? Жутко. Всеми силами души борюсь против этой мысли, не допускаю ее... а на сердце такая жуть, такой холод, такая гнетущая тоска. Но что я могу? Здесь нужны Самсоны и герои, а что такое я с моей доблестью? Стою я, как голый грешник на Страшном суде, трясущийся от озноба и страха, и слова не могу промолвить в свое оправдание... на Страшном суде не солжешь и адвоката защищать не возьмешь, кончены все твои земные хитрости и уловки, кончены!

Это называется: при мировой войне присутствовал Илья Петрович Дементьев, петербургский бухгалтер и счетовод.

Часть III

5 августа.

За последние дни я слишком разволновался и наговорил о себе много несправедливого. Волнение плохой помощник в рассуждениях, когда нужен трезвый и ясный взгляд на вещи; но слишком расстроили меня эти неожиданные разоблачения, которые, как из рога изобилия, полились из уст наших думских Цицеронов. Любопытный вопрос: если я проморгал, что следует, то куда же смотрели сами думские Цицероны? Им-то уже, во всяком случае, следовало быть поглазастее.

Конечно, я бессилён, охотно с этим соглашаюсь и не спорю, но разве от меня зависит моя сила? Какой я есть, такой я и есть, а родился я Самсоном или Жоффром, то и был бы я Жоффром. И если никакой дурак, зная, что я не математик, не предложит мне решить задачу на интегральное исчисление, то ещё менее разумно требовать от меня, чтобы именно я разрешил эту задачу о мировой войне и русских безобразиях. Не я хотел и начал эту войну, не я создаю и создал всю эту неурядицу, и смешно все это взваливать на мои плечи. Смешно и несправедливо. Поставили гору перед тобою и даже лопату в руки не сунули, а говорят: чтобы скрыта была в

полчаса! Нет – не угодно ли самим!

В конторе, слава Богу, все успокоилось и идет своим чередом. Здоровы и дети, что меня несказанно радует; прихворнула было желудком Инна Ивановна, но уже поправилась; в конце концов, очень крепкая и выносливая старушка, нас еще переживет. Но беспамятна ужасно!

Задумал я раскошелиться и на свой счет оклеить к зиме новыми обоями детскую комнату и свой кабинет. Особенно невыносимы для меня обои в кабинете: как взгляну на них, так тотчас вспомню эти белые ночи июньские, когда я раздетый сиживал на подоконнике или ходил босой по комнате и чувствовал себя сумасшедшим. В те часы я каждый цветок в обоях рассмотрел, выучил наизусть каждую черточку и пятно. Усумнился я было, стоит ли в такое тревожное время заниматься отделкой квартиры, но, подумав, решил, что именно в такое время и стоит: нет надобности до такой степени поддаваться обстоятельствам, чтобы и личную свою жизнь обращать в хаос и свинушник. Война может себе быть войной, а мой дом остается моим домом и дети – детьми.

Вчера вечером невольно рассмеялся, глядя на своего Женичку, как он укладывался спать. Он пополнил и посвежел и такой хитрый! Очень милый мальчик. Бонна по своему разумению научила его разным молитвам, тут, конечно, и за папу с мамой и за солдатиков, а кончается молитва неожиданно так:

– Боже, милостив буди мне, грешному.

И вот, произнося эти страшные слова, грешник стал на голову, весь заголившись, и с наслаждением кувыркнулся. Да, хорошо, если бы все грешники были такими!

Сашенька одобрила мой ответ Николаю Евгеньевичу и нашла его благородным. Молчит он, не отвечает – да и не ответит!

7 августа.

Прибираюсь с квартирой, оказалась ужасно запущенной и грязной, стыдно взглянуть; много моли, свившей себе целые гнезда в суконных занавесках, на диване и креслах в моем кабинете. Решил для некоторого разнообразия перевести свой кабинет на место прежней столовой; не скажу, чтобы вышло красивее, но уюта больше и приятно, что другие окна с другим видом. В прежние мои окна просто смотреть не могу: как увижу этот дом с его бесчисленными окнами и гладкими стенами, так снова начинаю испытывать тоску, доходящую даже до головокружения и перебоев в сердце. Словно я когда-нибудь уже падал с этой крыши, летел головой вниз вдоль этих гладких, отвратительных стен.

Перетаскивая с дворником мебель, думал о том, как хитро устроен человек: птица к зиме летит на юг, а человек испытывает влечение и любовь к дому своему, коробочке, копошится, устраивает, готовится к дождям и метелям. Сейчас у меня это носит характер даже увлечения, и только мелькающий в глазах образ моей Лидочки, которая в прежние года по-своему помогала мне в уборке, пронизывает сердце острой и безнадежной болью. Ее-то уж не будет!

Да и многого не будет, и в самую сердцевину моего гнезда проникает разорение. Пришлось отказаться от мысли о переклейке комнат: как-то вдруг обнаружилась такая страш-

ная дороговизна, что у малосостоятельного человека волосы поднимаются дыбом от предчувствий: тут и дрова, тут и хлеб... Впрочем, не стану заполнять дневника этими прозаическими подробностями нашего теперешнего житья-бытья. Ах война, война, какое же ты чудовище!

Немцы, взяв Варшаву, продолжают подвигаться вперед, т. е. к нам поближе. Все молчат и ждут, что будет дальше; и только искоса поглядывают друг на друга: не знает ли чего нового и настоящего? А кто может знать! Я думаю, что и сами немцы ничего не знают, и никто на свете ничего не знает и не понимает... замутился белый свет!

8 августа.

Взята Ковна, наша крепость, которую военные авторитеты считали неприступною, разгрызена, как орех, и скушана почти моментально.

12 августа.

Взят Оссовец.

15 августа.

Взята крепость Брест.

Как хорошо, что у меня есть вот этот дневник и я могу, не корча из себя рыцаря без страха и упрека, вполне откровенно сознаться в чувстве невыносимого страха, овладевшего мною. Конечно, на людях приходится скрываться и делать храброе лицо... да и что бы это было, если бы все мы в Петрограде стали орать от страха и трястись, как каждую минуту готов заорать и затрястись я! Да, вот этот страх – это уж настоящий страх, не фантазия и не болтовня, в которую пускаются больше для того, чтобы других напугать, а сами испытывают даже удовольствие. И так хочется бежать и укрыться... а куда? А на чем? А на какие деньги? Стоишь, как дерево на опушке леса, к которому подходит ураган, и только листики к себе прижимаешь, внутренне содрогаешься до самых последних корней. Есть еще надежда, что нашу контору эвакуируют, там что-то шепчутся таинственно все эти дни и возятся с книгами... ах, хотя бы!

Оттого ли, что так страшно за себя и детей, совершенно перестал соображать и ничего не понимаю. Даже самое слово «война» стало бессмысленным. Война – это мертвое, это пустой звук, к которому мы все давно привыкли, а тут что-то живое с ревом приближается к тебе, живое и огромное, все потрясающее. «Идут!» – вот самое страшное слово, с ко-

торым ничто не может сравниться. Идут. Идут.

Теперь я уже начинаю жалеть о белых ночах, столь измучивших меня после смерти Лидочки: свет все-таки является какой-то защитой, а что делать в осенние темные ночи, которые страшны и сами по себе, без всяких немцев? Вчера ночью бессонница, разволновался я, и вот полезли мне в голову фантастические картины того, как приближаются немцы, как они идут с своей незнакомой речью, с своими незнакомыми немецкими лицами, с своими пушками и ножами для убийства. Отчетливо, словно во сне, представилось мне и то, как они суетятся около повозок, кричат по-своему на лошадей, теснятся и топчут на мостах, грохочут по их живым доскам... чуть ли не голоса их услышал, так это ясно все представилось!

И их целое множество, их миллионы, этих озабоченно хлопочущих людей с ножами по наше горло, и все их неумолимые лица обращены к нам, к Петрограду, к Почтамтской, ко мне. Идут по шоссе и проселкам, ползут на автомобилях, едут по железным дорогам в набитых вагонах, залетают вперед на аэропланах и бросают бомбы, перескакивают от кочки к кочке, прячутся за бугорками, выглядывают, перебегают еще на шаг, еще на версту ближе ко мне, скалятся, ляскают зубами, волокут ножи и пушки, прицеливаются, видят вдаль дом и поскорее зажигают его – и все идут, все идут! И так мне страшно стало, словно живу я где-нибудь в деревне, в глуши, в одиноком доме среди леса, а какие-то грабители

и убийцы в темноте подкрадываются к дому и сейчас всех нас перережут.

Под конец дошел до такого состояния, что лежу и прислушиваюсь, отодравши уши от подушки, к каждому ночному шороху и треску... все кажется, что кто-то забрался, кто-то ходит и ищет. Невыносимо! Да, теперь я вижу, какой я трус, но как же мне быть, чтобы не трусить? Я не знаю, не знаю. Страшно.

А я еще комнаты оклеивать хотел, дурак!

16 августа.

Немного успокоился и бодрее смотрю на наше положение. И газеты, и наши стратеги в конторе уверяют, что до Петрограда немцам не дойти. Верю им, верю – иначе что же делать? А на улицах такая скука, и, только когда позабудешь немного о немцах, все кажется похожим на прежнее: и так же идет трамвай, и те же извозчики, и магазины. Но только везде больше сору и поднявшийся ветер слепит глаза, лошадиным мелким навозом засыпает рот. Голыми почему-то и грязными кажутся дома и дворцы, а над Невою точно дым от ветра и пыли, движется клубами и полосами и туманом застигает Петроградскую сторону.

С волнением читаю думские отчеты, но из естественного чувства осторожности ничего не пишу о своих впечатлениях. Одно только по-прежнему удивляет меня: это моя слепота, с какою относился я ко всему, всему доверяя и ощущая только внешность предметов. Ну и гражданин же ты, Илья Петрович! В порядочном государстве тебя, такого, и на порог не пустили бы, а тут ты ничего... честный человек, семейственная курица, которая к другим в гости ходит и во все горло кудахчет о разбитых яйцах.

Нет, мне это решительно нравится: я – курица. И мой Женька не кто иной, как курицын сын... теперь я понимаю звательность этой ругани. И по улицам все тоже разгули-

вают куры и курицыны дети в то время, как сукины дети...
стоп машина!

Илья Петрович Дементьев, бухгалтер и курицын сын.
Честь имею.

21 августа.

Случилось самое ужасное, что только может быть и о чем вот уже четыре дня не смею написать даже в дневнике. В сущности, этого давно уже следовало ожидать по сокращению операций и по затруднению в наших делах, которые я прекрасно знал, и только моя обычная слепота и доверие к людям оставляли меня беззаботным. Наша контора ухнула и закрыта; Иван Авксентьич внезапно умер (вероятно, покончил с собою, но это скрывают родственники), и все мы, служащие, получили расчет. Как дар особого великодушия, старым служащим, в том числе и мне, выдано месячное жалованье; если принять в расчет полный крах дома, то это действительно великодушно.

Но как же теперь я буду кормить себя и детей? От этой мысли страшнее, чем от немцев; те еще придут ли, нет ли, а это факт: по прошествии недолгого времени мне нечем будет кормить ни себя, ни детей.

От Сашеньки пока скрываю, не могу найти слов, чтобы сказать прилично. И дома ничего не знают: каждое утро в обычный час я выхожу, шатаюсь по дальним улицам, чтобы кого-нибудь не встретить, или сижу в Таврическом саду, а в пять возвращаюсь якобы со службы. Надо что-нибудь придумать, предпринять.

22 августа.

Первый раз в жизни я остаюсь без работы. В молодости, конечно, случалось, что я недели две, месяц оставался без занятий, но тогда это переживалось как-то по-другому, даже не помню, как именно. Легко и без размышлений, как и все в молодости, вероятно. Но теперь, в сорок шесть лет, с семьей...

Кому я нужен теперь? Какое имею я право на существование? Что есть за мною оправдывающего, кроме труда? Пока я трудился и давал людям малым и беспомощным кров и пропитание, я все же был человеком, личностью, которая имеет право на уважение и даже заботы, а что я теперь?

Совершенный дармоед, полное и оскорбительное ничтожество, до того полное и совершенное, что не только других, но и себя, свою маленькую жизнишку, оно поддерживать не может. Любой воробей, который на улице поклюет навоза, стоит выше меня и больше прав имеет на существование.

Пока работал, до тех пор и существовал, именовался, был видим и осязаем, хоть пальцем одним вертел какое-то общее колесо, а теперь... странно: я словно уже и не существую. Мучительное и невыносимое состояние, когда, будучи живым среди других живых людей, внутренне ощущаешь себя чем-то вроде призрака, невещественного явления. У меня и голос изменился, стал тихим и заискивающим, у меня и по-

ходка другая, точно я ночью хожу один по спящему дому и стараюсь не шуметь; и только то обстоятельство, что сейчас и все по-разному не похожи на самих себя, не позволяет заметить той же Инне Ивановне, что каждое утро уходит из дому и возвращается домой не живой человек, а призрак. А как я играю перед Сашенькой в редкие наши свидания, которые я старательно укорачиваю под предлогом работы... работы!

Конечно, я понимаю, что я не виноват в происходящем со мною и являюсь только жертвой, но разве это что-нибудь значит? Только совсем не уважающий себя человек может находить утешение и даже гордиться тем, что он жертва: я здесь никакой гордости не усматриваю. Наоборот: чем больше я размышляю о себе, тем ненавистнее становится мне этот человек, ни к чему не способный, ограниченный, висевший в жизни на одной какой-то ниточке, которую всякий прохожий может оборвать. Что я совершил такое, чтобы теперь спокойно держать руки сложенными на груди? Полторы дюжины стульев, кровати и стол, да еще тряпье, которое на мне и детях, – вот и все. Нет, что же я говорю: все – а комоды, а пуховые подушки, четыреста рублей в сберегательной кассе и билет, по которому собираюсь не нынче завтра выиграть двести тысяч? Правда, очень интересно было бы составить реестрик всему, что я имею и добыл трудом всей жизни, очень интересно и поучительно.

Воистину, смешно, но когда подумать, что это все, то становится и страшно и стыдно. Проживу еще месяц на этой

квартире, а потом куда? Деточки мои, деточки, хорош же у вас отец.

25 августа.

Обегал всех знакомых, обил сотни две порогов, всюду совал свои рекомендательные письма – никому и ни на какой черт не нужен «честный и добросовестный работник». А советов много. Одни с высоты своего патриотического величия рекомендуют работать для войны и «мобилизовать промышленность» вместе с богачом Рябушинским; другие же, более практичные, советуют примазаться к войне и сосать ее подобно тому, как невинный младенец сосет грудь матери... судя по Николаю Евгеньевичу, занятие весьма питательное.

Рад бы послушаться мудрых и патриотичных советов, но одно соображение останавливает порывы: а кто будет «мобилизовать» моих Петьку и Женьку? На второе же могу ответить с полным сокрушением сердца: решительно не знаю, в каком месте находятся благодетельные сосцы, в которые должен я вцепиться зубами.

Глуп я и не расторопен, только одно и умею что свою работу. Но Боже мой, Господи! – с какую завистью, с каким отчаянием, с какой подлой жадностью смотрю я на богатых, на их дома и зеркальные стекла, на их автомобили и кареты, на подлую роскошь их одеяния, бриллиантов, золота! И вовсе не честен я, это пустяки, я просто завидую и несчастен от того, что сам не умею так устроиться, как они. Раз все грабят, то почему я должен умирать с голоду во имя какой-то

честности, над которою не смеется только ленивый!

26 августа.

Легче на смерть пойти, нежели сознаться Сашеньке в том, что я потерял работу и теперь ничего не значу. Если бы раньше я еще вел себя иначе, а то ведь сколько гордости! сколько важности и требований! «Убедительно прошу тебя позаботиться о моем столе, потому что мой желудок важен не только для меня, а и для всех вас: если я заболею, кто будет?..» и т. д. Прошу не шуметь, я ложусь отдыхать. Почему чай не горячий? Почему пиджак не вычищен и на рукаве я усматриваю пушинку – эй, вы!

Экономлю на том, что меньше ем и совсем перестал ужинать под предлогом все этого же драгоценного желудка; впрочем, голода не ощущаю. А вчера вдруг сообразил, что своим мышинным беганьем по городу быстро стираю дорогие подметки, и часа два сидел в Румянцевском сквере, поджавши ноги, оберегая подметки. Надо бы еще голым раздеться, чтобы платья не изнашивать.

Нет, до каких же пределов будут продолжаться мои страдания? Нет им конца и краю, живого места во мне не осталось, куда ни вонзился бы шип. Мысленно представляю себе свое сердце, когда начинает оно болеть, и вижу не живое человеческое сердце, обитель возвышенных чувств и желаний, а что-то вроде собачьей кровяной колбасы. Что я совершил, чтобы так мучаться, днем и ночью терпеть такое бесчеловеч-

ное наказание?

Ведь это же издевательство над человеком! И до каких же пор я буду терпеть его, принижаясь все больше, от громкого голоса переходя к лакейскому шепоту и низким поклонам? Разве я боюсь?

Вчера в сквере, глядя на его запыленные дорожки с окурками, на умирающую листву дерев, на дальние дома на той стороне Невы, – я вдруг подумал, что могу через несколько минут оказаться там же, где моя нежная Лидочка, дитя мое, навеки любимое. И такое при этой мысли осияло меня счастье, такой небесный свет озарил мою несчастную голову, что был я на одно мгновение богаче и свободнее самых богатых людей на свете.

Так чего же я борюсь, все еще борюсь с невзгодами и берегу подметки, как честный нищий? Освобождение и счастье так близки от всякого несчастного там, где есть глубокая и быстрая вода.

27 августа.

Ничего.

28 августа.

Сегодня по совету одного из наших бывших конторских, уже недурно пристроившегося около какого-то подряда на армию, отправился в кафе на Невском, где собираются «деловые люди». Вся удача зависела от развязности: надо заговорить, рассказав какой-нибудь анекдот, познакомиться и потом примазаться.

Конечно, ничего у меня не вышло, ни развязности, ни анекдота. Сначала я все улыбался, думая этим привлечь к себе симпатии, покашливал и развязно заказывал пирожки и чай, а потом очень быстро скис и пришел в состояние такой каменной немоты, что просто-напросто потерял голос. Ошеломили меня эти люди, затуркали своим громким говором, ослепили и почти лишили сознания быстротою и легкостью своих движений: как он войдет, как он сядет, как он на всех сверкнет глазами и тотчас же наведет их на подходящего субъекта! И смотришь: минуты не прошло, а они уже вместе, курят, шепчутся, соткнувшись головами, ругаются и чуть не целуются, как самые старые друзья! В разговор их, часто довольно громкий и откровенный, вникнуть было очень трудно, но смысл был ясен: что-то продают, что-то покупают, кого-то грабят, кого-то топят и предают. Этим и зарабатывают.

Но не густо, видимо, и зарабатывают: в большинстве оде-

ты грязно и дешево, и только у двоих заметил я настоящие бриллианты в запонках и перстнях, а то все нет. Бумажники, однако, изрядно толстые, многие показывали, и не с газетной бумагой, а настоящими кредитками... очень возможно, что и грязь вся эта нужна для формы, служит этим господам ихним мундиром. Ужасная сволочь!

Нечего греха таить: вошел я в кафе с полной на все готовностью и без всяких моральных соображений; и скажи мне кто-нибудь прямо, четко и ясно:

– Вот, Илья Петрович, надо сегодня же взломать кассу или подделать фальшивую ассигновку, не угодно ли за приличное вознаграждение – я без заминки принял бы поручение или заказ. Я так думаю. Но, посидев час и дойдя до каменной немоты, приглядевшись к лицам ихним и галстукам, к грязным ногтям и бриллиантам, я проникся постепенно невыразимым отвращением к этим людям. Даже не к делам ихним, о которых я и до сих пор не имею полного представления, а именно к ним самим, к их лицам, ко всему их грязному и позорному существу. Ужасная сволочь!

Особенно поразил меня один господин с черными усами и даже на некоторое время заставил меня позабыть о собственном моем безвыходном положении. Это был еще не старый мужчина великолепного здоровья и крепости, действительно богато одетый и державший себя среди этой мелкоты с такой важностью и спокойствием, что невольно чувствовался к нему какой-то страх. Говорил он мало, больше слушал,

изредка улыбался и одному грязному субъекту совсем равнодушно не протянул руки, на что ни субъект, ни другие не обратили никакого внимания, словно это в порядке вещей. Один раз он взглянул на меня своими черными, равнодушными и жестокими глазами, и странно! – ясно чувствуя, что он величайший мошенник, может быть, злодей, я испытал рабскую потребность поклониться ему и сделать приятное лицо. А меня, вероятно, он даже и не заметил или сразу оценил в грош, в мою настоящую цену, и отвернулся. Когда господин выходил, никому не позволив заплатить за свой чай, человек пять провожали его до дверей, молясь на его спину; а потом из разговора оставшихся я понял, что господин этот нажил каким-то образом несколько миллионов. Говорили о трех и четырех, но если половину и скинуть, отнеся на долю их восторга, то все же получается достаточно: два миллиона!

Остальную часть дня, уйдя из кафе, я все думал о нем. Что он сделал, чтобы нажить эти миллионы? Какие грабежи? Какие предательства он совершил? И что это за человек, что это за особенная человеческая душа, которая может быть так спокойна, которой не страшны ни кровь, ни война, ни Бог, ни дьявол? И мне трудно было представить, что он сделан из такого же материала, как и я. Вижу его лицо, вижу его крепость и здоровье, спокойствие его духа и тела – и поражаюсь. Дома, за нашим обедом, я нарочно все время представлял его сидящим рядом с Инной Ивановной, которая конфузится каждого куска, каждой ложки, считая их незаслуженны-

ми, вспоминал ее Павлушу и ту минуту ужасную, когда я сообщил ей о его смерти, – и все больше поражался тайнами человеческой жизни.

Надобно признаться, что никакие добродетельные рассуждения не могли бы так полно и сразу, как этот господин, погасить мою глупую и скверную надежду: что-нибудь уворовать и для себя. Куда мне! Хорошим вором надо родиться, а для мелкого воришки нет у меня ни юркости, ни развязности, ни веселой бессовестности. Кому миллионы, а кому совесть... воистину, мудрое распределение богатств!

29 августа.

Вдруг потянуло на роскошь. Только что с аппетитом поужинал, а днем зашел к Елисееву, с жестом миллионера, заработавшего четыре миллиона, выбросил рубль за фунт московской колбасы, которую любят дети и Инна Ивановна: пусть повеселятся и прославят могущество Ильи Петровича! Кроме того, купил и отнес Сашеньке два фунта хороших конфет и две тысячи папирос для солдат и бессовестно, не краснея, принял ее благодарственный и нежный поцелуй. Там не смог, так хоть здесь уворовал!

А сейчас, несмотря на сытое брюхо, каюсь и раскаиваюсь, словно совершил какое-то убийство на большой дороге. Но, видно, сытость сильнее совести и раскаяния: хочу спать и зеваю во весь рот, как миллионер. Это первый раз с закрытия конторы захотел я спать.

30 августа.

Спать-то захотелось, а как лег на постель, так сон и прошел; и снова до утра ворочался и курил, придумывая себе честные и подходящие занятия. Два отыскал как будто и подходящих: лакеем в ресторане (сейчас мужчин мало) или кондуктором на трамвае. Но днем, при свете солнца и ума, понял вздорность этих предложений, совершенно несовместимых с моим слабым здоровьем и непривычкой к лакейскому трудовому делу. Куда уж!

1 сентября.

Изучаю Петроград наподобие туриста или философа. Интересно. Часами осматриваю памятники, как будто никогда их не видал, и вхожу в их глубочайший смысл. Разглядываю дворцы и новые здания, поощряю искусство архитектуры. Очень внимательно со всех сторон рассмотрел новую ту-рецкую мечеть, что около Троицкого моста, и тут совсем почувствовал себя свободным путешественником, захавшим в далекие восточные земли. Тут же в сквере на лавочке с удовольствием и позавтракал, думая о различных верах. Заходил в музей Александра III и любовался картинами. Только знакомых не выношу и, увидев издали, поспешно шмыгаю в ближайший переулок.

О немцах знаю только то, что напечатано на уличных сообщениях от Штаба, газет не покупаю. Но, судя по виду улиц и прохожих, дела наших плохи и немцы продолжают надвигаться. Не знаю, чем это кончится, да и мало забочусь о конце: для меня он наступит раньше. Как-то прозевал, что 21-го взята Гродна.

Будучи призраком среди живых людей, предаюсь подолгу странным и призрачным размышлениям, на всю жизнь смотрю сбоку, как посторонний, или даже сверху, с птичьего полета. Философствую и устраиваю людей и государства. Глядя на грузовые грохочущие автомобили, на лошадей, вытя-

гивающих тяжести, на всю эту кипучую и напряженную деятельность, вдруг понял, почему война. Война потому, что каждый человек хочет, чтобы у него было всего больше всех. Одобрил это его желание. С величайшим любопытством, которое будет непонятно живым, рассматриваю город: как он сделан, из чего, почему площади, улицы и переулки. Понял значение трамвая. Нравится мне, что дома поделены на квартиры и что швейцары. Нравится набережная в граните; смотрел, как разводится новый Охтинский мост, пропуская пароходы, и тоже понравилось. Ужасно нравится суета людей на вокзалах, куда захожу каждый день.

В то же время, как философ и посторонний человек, ничего не имею возразить против того, чтобы все это взорвали: и мосты, и здания, и набережные. Тоже будет интересно. Отчетливо представляю, как все это горит и рушится и какой вид будет иметь город потом, когда все развалится. Будет очень низенький.

Сегодня смотрел с Крестовского, как летали два наших самолета и один из них осторожно облетал по краю огромного облака; мысленно, не без удовольствия, полетал с ними. Вообще чувствую себя лордом и – я не шучу – испытываю минутами приятнейшее настроение. Денег не жалею и, как лорд, все делаю подарки и сюрпризы, опять детям накупил закусок, а Сашеньке отнес фруктов, подал ей с изящнейшим поклоном.

Лорд!..

3 сентября, четверг.

Весь город шумит, как улей, крик, недовольные разговоры даже на улице: распущена Государственная Дума. Только и надежды было что на нее. Даже странно, до чего осмелел петроградец: такое во весь голос кричит на улице, чего прежде и в спальне не решился бы прошептать! Боятся беспорядков. Хожу я по улице, слушаю весь этот раздраженный и бессильный гомон и думаю: эх, храбрецы... а впрочем, мне-то какое дело?

Увлекаемый бездельем, прошелся к Таврическому дворцу. Ничего, стоит. Вместе с небольшой толпой любопытных глазел на выходявших и входивших депутатов... ничего, люди как люди. Как будто и мрачны, а как будто и довольны, что такая историческая роль выпала на их долю: быть распущенными в то время, когда «отечество в опасности». Ногами семят значительно. И в экипаже хорошо сидят: такой профессорский вид, будто тяжелобольного только что уморили.

А когда я улыбнулся и что-то пошутил, некий молодой человек назвал меня черносотенцем. Да и чего я лезу, в самом деле? Решил уйти от греха, пока не побили еще, и долго стоял на Охтинском мосту, а потом затратил шесть копеек и на пароходике проплыл всю Неву, до Васильевского острова.

Тянет меня теперь к воде. И есть что-то успокоительное в брызгах и в ветерке, который обвеивает лицо, когда сидишь

на носу... а вместе и безнадежность какая-то, печаль и тоска.

4 сентября.

Еще я понял, что такое пустота. Это очень страшно и необыкновенно. Она всюду и во все стороны, от меня и до самой луны, на которую я вчера смотрел с Английской набережной. Особенно страшно и необыкновенно, что она захвачена домами, квартирами и обведена стенами и потолком. В каждой квартире, в каждой комнате есть немного пустоты.

Но если повалить стены, то между мною, месяцем и звездами ничего не останется.

Чрезвычайно ясно стало это вчера, еще на рассвете. С ночи я заснул и что-то страшное видел во сне; потом пришла во сне Лидочка, и я проснулся. Дальше не мог спать, овладело мною беспокойство, и я вышел в свой новый кабинет и сел на подоконник. Уже светало, но шел дождик и все казалось серым и одноцветным, не имеющим ни начала, ни конца. И тихо было. И тут я глубоко и тревожно ощутил пустоту, которая в комнате и из комнаты, через окна, идет наружу и до бесконечности. Все пустота. Разница только в том, что эту пустоту, которая в комнате, нагревают, чтобы человек не умер от вечного холода. А это, что сидит на подоконнике (думал я дальше), это и есть человек, вокруг которого такая пустота. И нагретая пустота называется квартирой, и скоро у меня не будет квартиры.

И тут я заметил, что опять я сижу в одних кальсонах, как

тогда, и еще больше похож на сумасшедшего. Такой длинноногий и борода с сединой. Илья Петрович. Капут тебе, Илья Петрович!

Совсем собрался сейчас ложиться, уже час ночи, но в окно глянула луна, и я решил идти гулять и смотреть на луну. Неприятно, что каждый раз, ночью, входя и выходя, надо будить швейцара; от квартирной двери у меня ключ свой. Если со мной что-нибудь случится, то не надо обращать внимания. Женичка славный мальчик.

6 сентября.

Какой тяжелый сон я видел наяву! Зашел я случайно на Финляндский вокзал и видел, как встречали какую-то партию наших инвалидов из Германии... обработали и вернули, теперь, значит, не страшны! Что же это такое?..

Как слепой и глухой дурак, углубленный в свое ничтожество, я не сразу понял, зачем собралась такая толпа на вокзале, думал, что какое-нибудь веселье, праздник. Видимо, сбили меня с толку цветы, флаги и оркестр, как для встречи молодых; а когда узнал, то сразу похолодел и с ужасом стал ожидать поезда: решительно не мог представить, что ужасное предстанет моим глазам, какое оно.

А когда понесли их, безногих и безруких, и заковыляли слепые и одноножки, и заиграла музыка, и стали отдавать честь военные – оборвалось у меня сердце, и заплакал я со всею толпою. Закрыв глаза и слышу: ни одного голоса, а топчут ноги и деревяшки по платформе, да музыка играет... трудно понять, что происходит. А открою глаза, тоже не сразу разберешь, в чем дело: в самых ярчайших рубашках инвалиды, в синих и красных, как женихи, а глаз нет, а ног нет... или это и есть наши теперешние, матушки-России, женихи? Кто же я, смотрящий?

Потом посадили их обедать, тоже картина! Сами едят родной хлеб своей земли, а сами плачут, слезами его солят, жут-

ко и невыносимо смотреть на их истомленные лица, такие знакомые, будто с каждым из этих людей всю жизнь был знаком и дружил. Речи им говорят, приветствуют... а я смотрю на ближайшего рябенького солдата, слепого, как у него скула рябая дрожит и как он все не может попасть ложкой в рот, и чувствую себя так, словно плывет и расступается у меня под ногами земля, как у нечистого. А тут молодой красивый офицер только что нашел и увидел своего брата молоденького, безрукого, и как начали они улыбаться, глядя друг на друга, и как начали улыбаться... не выдержал я и вышел из толпы, не помню, как выбрался. И, зайдя за угол вокзала, где не было никого, трижды в землю поклонился.

Женихи вы мои, женихи, красные рубашечки! Тяжел на головах ваших брачный венец и докрасна раскалено обручальное кольцо, которым навеки сочтались вы с родимую землю. Простите меня, окаянного.

7 сентября.

Сашенька, друг мой! Из коротенького письма, оставленного для тебя на столе, ты увидишь, что разгадку моей смерти ты должна искать в этом дневнике. Прочти его дружески и внимательно, и ты поймешь, а быть может, даже и одобришь мое решение уйти из жизни, в которой я лишний и никому не нужный человек и в которой я так страдал. Я знаю, что ты любишь меня, свято верю в твою драгоценную любовь, и эту веру я отнесу к нашей Лидочке, в ее печальное одиночество, которое я готовлюсь ныне с восторгом и упоением разделить.

Да, Сашенька, с восторгом и упоением. Не думай, голубчик, не терзай своего сердца мыслями, что я умирал со страхом и страданиями, что мне было больно или тяжело... нет, с радостью сбрасываю с себя непосильное бремя жизни. Слабый я человек, Сашенька! Уже три недели я таю от тебя, что потерял службу и что всем нам грозит нищета и голод, мне было стыдно сознаваться в моем бессилии и ничтожестве. Конечно, всякий другой, более способный человек, сумел бы выйти из этого положения и найти себе работу, но я не умею и не сумел этого сделать, и на что же я нужен?

А быть предметом общественной благотворительности я не хочу и не имею на это права: вчера я видел на вокзале наших инвалидов, плакал над их горьким несчастьем, и вот кому должны послужить люди, а не мне.

И что я для тебя, моя печальная красавица, мое сердце золотое? Годами я не молод, и внешность моя не привлекательна, и любить меня ты могла только от своей неисчерпаемой доброты: уйду я, и тебе станет легче и свободнее на этом свете, на котором я только мешал тебе. Разве я был мужчиною? Разве я вел тебя сильною рукою по трудной дороге жизни и светом ума озарял ее темноту? Нет, дружок, плох я был, мелок душою и эгоистичен. Не я ли взывал к тебе с дурацкими требованиями о моем желудке... ай, как мне стыдно только вспомнить это, Сашенька. Не я ли мешал твоей самоотверженной работе в лазарете, тащил тебя в дом, гордо заявлял о своем неумении обращаться с детьми, не желая замечать, что ведь ты научилась же обращаться с ранеными, что много потруднее детей. Мне стыдно вспомнить, с каким лицом, попросту – с какой мордой недовольства встречал я тебя, когда ты заходила домой, или сам я заявлялся в лазарет, наводя критику на ваши порядки. Но одно, я умоляю тебя, забудь и никогда не вспоминай: то, что говорил я тебе после смерти Лидочки. Если ты будешь помнить эти мои гнусные и жестокие упреки, то и в могиле я не найду себе покоя. Забудь и прости!

Но есть и еще одно, что сама ты узнай и навсегда запомни, но от детей моих, когда вырастут, скрой, чтобы не позорить их отца. Сашенька... Россия прокляла меня! Я это услышал вчера, когда взорам моим представились несчастные, слепые, искалеченные инвалиды, наши, твои и мои за-

щитники, и сердце мое оборвалось от невыносимого страдания. И, плача ненужными и случайными слезами, которых не было бы, не попади я случайно на вокзал, я услышал проклинающий голос России: будь ты проклят, злой сын мой! Это не фантазии, Сашенька, и не бред: я слышал голос.

Ты можешь сказать, что это сумасшествие, и мне будет горько, если ты скажешь: нет, друг мой, я раньше был сумасшедшим, пока не слышал этого голоса и бил себя в грудь, как фарисей, хвастался своей непорочностью и осуждал воюющих. Будь я германец, меня и Германия прокляла бы, потому что и там есть свои безногие, безрукие и слепые инвалиды, защищающие других. Да и рассуди спокойно, Сашенька: что я сделал для России в эту тяжкую для нее минуту? Только что не крал, но разве этого достаточно! А знал я, как и все, что отечество в опасности, сам твердил эти страшные слова, как ученый попугай, а что сделал? Ничего. Страшно подумать, какое беспощадное осуждение заключено в этом коротеньком слове.

Бестрепетно, своею рукою я казню себя, как казнятся шпионы и предатели, которым нет места на земле. Россия прокляла меня своим материнским голосом, и я не могу, просто не смею жить. В глаза стыдно глядеть, Сашенька! Ведь даже места пустого не останется там, где я прежде существовал, так я не нужен никому, и не заметит никто, что меня уже нет. И только одно сомнение, один страх смущает меня: не отвернется ли и там от меня моя Лидочка, найду

ли я ее среди ангелов небесных. Нет, там понимают больше, чем здесь, и там зачтутся мои хоть и пустые, но невольные и жестокие страдания, какими заплатил я за мое ничтожество. Там нет сильных и слабых, там все равны, там и для меня найдется убежище под ризою Христовой. На земле мой счет оплачен, а там уже пойдет иная бухгалтерия.

Будь счастлива, моя милая, моя дорогая, единственная. Благослови тебя Бог за всю любовь, что ты дала мне, за твою нежность и снисходительность, за каждое прикосновение твоей милой и любимой руки. Не плачь обо мне. Панихиду отслужи одну за троих: за Лидочку, за Павлушу, воина убиенного, и за меня. Тела моего не жди и не ищи, его далеко унесет в глубокое море. Прощай. Прощай!

9 сентября.

Произошли такие чудесные и божественные вещи, что я должен рассказывать о них по порядку, иначе спутаюсь.

Это было третьего дня. Решив покончить самоубийством, я весь этот день провел с детьми, ходил с ними гулять в Александровский сад, купил им конфет, вообще доставлял удовольствия; и к обеду кое-чего прикупил для Инны Ивановны. Между прочим, о ней я написал письмо Николаю Евгеньевичу, ее сыну, но, по счастью, не успел послать. Вечером, когда дети легли и при мне помолились, я привел в порядок все мои маленькие денежные дела (как хорошо, что нет у меня долгов!), написал письмо в полицию и Сашеньке и около часа ночи отправился к Троицкому мосту, откуда решил броситься в Неву, пользуясь пустынностью и безлюдием этого часа. Чтобы меньше мучиться и для верности, в карманы пальто я положил две тяжелые свинцовые гири от детских часов с кукушкой, давно уже испорченных и не идущих; дорогой думал еще прибавить камней, какой-нибудь тяжести. Скажу совершенно правдиво, что ни страху, ни особенных сожалений о жизни я не ощущал; только немного поплакал, когда писал Сашеньке, да и то скупыми официальными слезами.

Больше всего меня занимала мысль, как они, мои дорогие, устроятся без меня, и казалось мне, что устроятся срав-

нительно хорошо: дети без отца всегда могут и имеют право рассчитывать на помощь; имел я некоторые надежды и на Николая Евгеньевича, к которому лично я опять-таки обращаться не мог. Все, одним словом, улаживалось, и полдороги я только об этом и размышлял, пока, пройдя через Мошков переулочек, я не увидел перед собою пустынной и темной Невы; ночь была облачна и темна, и Петропавловской крепости на той стороне почти совсем не было видно, светил слабо один какой-то фонарик, должно быть, у крепостных ворот, и от этой темноты река казалась в этом месте широкою, как море. А справа висели над водой, не мигая, яркие огни недалекого Троицкого моста, и было совершенно безлюдно и тихо. «Вот я и дошел», – подумал я, сжимая в кармане холодные гирьки и всем лицом ощутив влажность и запах воды, неслышно крутившейся и бежавшей за гранитным парапетом. Куда мне торопиться? Подожду и посмотрю кругом.

И вот здесь, с этой минуты, и началось со мною особенное, что мне очень, очень трудно передать. Вообще я человек не глупый, но и не умный: многого не вижу, многого не знаю, а еще больше не понимаю... да и некогда понимать, одолевают суета и заботы; и никогда, сколько себя помню, не бывало у меня настоящих длинных мыслей. А тут произошло со мной превращение, удивительное, как в сказке: словно открылись у меня тысячи глаз и ушей и потекли такие длинные мысли в голове, что всякое движение стало невозможным: надо было сидеть либо стоять, но никак не идти. И всякие слова

в голове замолчали, даже названия самих предметов как бы позабылись, а только безмолвные и длительные мысли, такие длинные, словно каждая по нескольку раз обнимает весь земной шар. Нет, не могу я этого выразить.

И первое, что я понял, это то, что я и есть человек, о котором говорится, когда произносят слова: люди, человечество, человек. Именно я и есть, вот этот, что с гирьками в кармане, одетый в пальто, думающий такие мысли, стоящий над текучей водой среди полного безмолвия ночного города. Где же все другие люди? – подумал я длинно и увидел по всему миру всех других людей. Есть ли разница между живыми и мертвыми людьми? Куда уходят мертвые? Откуда приходят живые? И, опять-таки думая очень длинно, увидел всех, и мертвых, и живых, и будущих, все их необыкновенное множество, пронсящееся подобно видениям, летящее вместе с облаками под луною, вместе с солнечными лучами, дождем, вместе с ветром и рекою. И понял – теперь не знаю почему, – что я бессмертен совершенно, даже до смешного: Петербург может тысячу раз провалиться, а я все буду жив.

Это было уже на Троицком мосту, как раз на том месте, которое заранее я наметил себе для прыжка в воду; но тут мне стало так глупо самоубийство, что спокойнейшим образом я вместо себя кинул в воду обе гирьки, даже не всплеснувшие при падении. И опять длинно о чем-то думал, глядя на приходящую с верховьев воду, озаряющуюся фонарями. Потом глядел на темное бесконечное небо и опять что-то ду-

мал... не могу припомнить, что, но все очень ясное и огромное, точно был я в эту минуту настоящим мудрецом, который видит всю вселенную и все понимает. Сзади меня, по мосту, прошумело несколько автомобилей, и тут я нечто уразумел; повернувшись, долго ждал еще автомобиля и обрадовался, когда за склоном моста показались два ярких электрических огня. Пронесся и дал гудок.

И вдруг я – смирился. Не могу иначе как смирением назвать чувство, которое вместе с холодом от реки легким ознобом проникло в меня... нет, не знаю, как это случилось, но от самых вершин мудрости и понимания, на которых я только что был, я внезапно спустился в такой трепет, в такое чувство малости своей и страха, что пальцы мои в кармане сразу высохли, застыли и согнулись, как птичьи лапы. «Струсил!» – подумал я, чувствуя жестокий страх перед смертью, которую готовил себе, и забывая, что гирьки я бросил раньше, и от самоубийства отказался раньше, нежели почувствовал страх. Теперь я думаю, что и струсь я по-настоящему, по самому обыкновенному, то и в этом не было большой беды, но тогда мой страх показался мне ужасным. Где моя мудрость и длинные мысли? Стою на мосту, даже на воду не решаюсь опустить глаза и трясусь, форменно трясусь, зубами ляскаю. А в это же время и какую-то попытку делаю, сам в отчаянии, а сам телом измеряю и щупаю высоту перил. «Сейчас брошусь!» – думаю в отчаянии и слышу, как пальцы на ноге легки и ничем крепким не прикреплены к панели,

сейчас от нее отделятся, сейчас...

И вот здесь-то, испытывая этот ужас неопиcуемый, я вспомнил так ярко, будто солнце взошло, – как мы тогда, в начале войны, бежали на телеге из Шувалова, и Лидочку мою, и цветочки, которые сорвал я ей около дороги, и тогдашний необъяснимый страх мой... так вот чего я боялся тогда! Так вот что предчувствовала и знала моя душа! Так вот отчего и цветочки, и поспешность наша, и боязнь оглянуться, и стремление уйти подальше, скрыться, найти какой-то свой дом на земле... знала душа, что ей готовится, и трепетала в слабом человеческом теле!

– Боже мой! Так это все война! Война! – подумал я и сразу увидел всю войну, какая она ужасная, какая гибельная. Забыл, что я в Петербурге, забыл, что стою на мосту, все забыл окружающее – и вижу только войну, всю ее. Нет, нельзя передать и этого, нельзя передать ни этого нового страха, ни этих внезапных слез, которые полились у меня из глаз – и вот все льются, все льются, до сих пор льются. К счастью, какой-то прохожий обратил на меня внимание, прошел было мимо, но вернулся и что-то сказал мне. Близко, как в зеркале, увидел я его незнакомое и почему-то страшное лицо и страшные глаза – отшатнулся от него, что-то крикнув, и поспешно, почти бегом, зашагал с моста, к Сашеньке.

Не помню, где я сел на извозчика, не помню, сколько заплатил, не помню даже, как и в лазарет вошел, – помню только, как я стал на колени перед Сашенькой и, захлебыва-

ясь слезами, дрожа всем телом, начал мою бессвязную сумасшедшую исповедь... И вот что я скажу и вот в чем клянусь я перед Богом и перед всеми людьми: моя Сашенька святая, и не моя она, а Божья! Она всех людей, и святость ее такова, что не смею я к руке ее прикоснуться, всю мою жизнь должен молиться Создавшему ее, всю жизнь плакать у ее ног. Непорочная моя, сердце всех людей, душа всех душ, Сашенька благовестная!

Подлец, я ожидал упреков! А вот что услышал я, когда сделался в состоянии, сквозь слезы мои и рыдания, различать ее святые слова:

– Ну и ничего, ну и не надо работы. Мне обещали жалованье, и я не хотела брать его, а теперь возьму, и мы проживем, и дети проживут, а ты будешь со мною, будем делать вместе, что можем. А теперь ты как тяжело раненный, и я отведу тебя домой, посмотри на детей, как они спят, поцелуй маму. Пусть успокоится, пусть отдохнет твоя душа. Бедный мой, бедный мой, Иленька-голубчик!..

И она еще зовет меня Иленькой! А потом сама заплакала надо мною, стала целовать мои волосы седые. Бормочу ей:

– Не целуй, они пыльные, я месяц в бане не был, не целуй! А ей хоть бы что! Вот женщина. Но гнусная память, не те передаю слова ее, не помню в полной точности... разве такие они были, как у меня выходит! Да и ослабел я сильно от слез, голова кружилась так, что нужно было за стенку или стул придерживаться, чтобы не упасть. На несколько минут

Сашенька вышла, чтобы устроиться с своими обязанностями, и я впервые обвел глазами комнатку, где все это случилось, вытер лицо, как будто успокоился; но увидел на стене белый халатик с уголком красного креста, который отныне для меня священен, как и моя Сашенька, – и опять весь залился слезами. Таким и повела меня Сашенька домой, и я все отворачивался, пока швейцар открывал двери, мы живем на другой лестнице. И все пытался я говорить, и, конечно, чепуху, но Сашенька нежно останавливала меня: не надо, не говори сегодня, успокойся. Завтра поговорим. Оказалось, что она на несколько дней отпросилась домой.

Плохо помню, что и дома было. Почему-то было очень светло, и я ходил по комнатам как именинник, глупо и счастливо улыбаясь, целовал по порядку спящих детей, целовался и плакал с Инной Ивановной, которую Сашенька разбудила. Потом был самовар, и я пил горячий чай, и капали в блюдце слезы, которые все начинали беспричинно течь у меня: подумая, что чай горячий, – и готово, плачу от жалости и счастья.

Сашенька сама постлала мне постель в кабинете, находя, что здесь мне будет спокойнее, достала чистое белье и меня обрядила во все чистое. И когда лег я, такой чистый и белый, на белую и чистую постель, лег навзничь и руки сложил на одеяле, а она поставила возле столик с зеленой лампочкой и села и взяла книжку, чтобы мне читать вслух, – я действительно почувствовал себя так, будто я был ранен тяжело и те-

перь выздоравливаю. И так приятна была слабость, с какою у меня едва поднимались отяжелевшие веки, чтобы взглянуть на светлый кружок от лампы на потолке, на лампу, на Сашенькин подбородок, который был виден мне.

Читала она Гоголя, и хотя слышал я отрывками, но было интересно и приятно волновало, как хороший сон о каких-то других людях, о полях, о дороге. И сам слышу: «Селифан, Петрушка, бричка» и даже вижу их, а в голове тут же, словно рядом, протекает темная Нева, автомобиль несется и прохожий хватает меня за руку. А потом опять бричка, и колокольчики, и долгая-долгая дорога... так я заснул, проснулся на мгновение, вздрогнув от чего-то всем телом, увидел кружок, услышал Сашенькин голос – и окончательно погрузился в крепчайший сон.

А наутро, проснувшись, увидел над столом Сашеньку, в слезах дочитывающую мой глупый дневник, такую бледную и такую милую от бессонной ночи, которую она провела всю для меня. Сашенька моя, Сашенька, святая ты моя!

12 сентября.

Перебрались на квартиру к Фимочке, Сашиной подруге, взяли у нее две комнатки, которые раньше занимал какой-то беженец. Беженца бессовестно выпроводили, сами беженцы. Фимочка – это хохотушка. Но Боже мой! до чего мне приятны эти комнатки маленькие, эти безобидные насмешки Фимочки над моей чувствительностью!

Словно во дворец я переехал, богат и свободен, как царь. У Фимочки есть канарейка, и я, как дурак, по полчаса сижу перед клеткой и любуюсь ее движениями.

О главном потом, не могу сейчас. Немцы продолжают наступать.

13 сентября.

С трудом узнаю себя в описании Сашеньки, но верю ей в каждом слове, моей праведнице. Фотография ужасная! И вполне понятно, почему я был таким чужим: ведь я, в надменности моего собственного горя, и слез ее не замечал, на ласковое слово отвечал злым рычанием дворового пса, у которого отняли кость. А мой страх, что я потерял работу, моя глупая гордость, что я теперь недостоин жить... какая невероятная глупость! Точно все могут оставаться безработными и милостыню просить, а я один не могу, такая исключительная натура и высокий титул: Илья Петрович Дементьев. И точно все люди могут детей терять, а я один и этого не могу, я непременно должен восстать и кого-то оклеветать, бесстыдно бия себя в грудь; и точно у всех могут быть пожары, лишения имущества, несчастья всякого рода, а один я в этом свете недотрога, священная персона. И все воюют, берут на себя и грех и муку, а я один, как отставной учитель, сижу по ночам и наставления пишу, преподаю уроки, которых никто не слушает, и баллы ставлю за поведение. Два с минусом – иди в угол, Германия! И все, дураки, идите в угол, пока я, умный, буду здесь на кафедре сидеть и возноситься. Но откуда все это так поняла моя Сашенька? Отвечает, что ниоткуда, а все это, дескать, и так ясно. Может быть. Но тогда откуда же была моя слепота? Вероятно, оттуда же, откуда и эти

ненужные вопросы. И самому теперь все ясно, а по привычке все допрашиваю, знаки вопросительные ставлю... глупо!

Ни с чем не могу сравнить той легкости душевной, которую теперь ощущаю. И главное: не чувствую никакого страха, ни перед чем, что бы ни случилось. Нет страшного, сам я его выдумал. Ну немцы и немцы, ну и бежать так бежать, а умереть так умереть! Никогда еще не любил я так моих Петьку и Женьку, но даже и ихняя смерть не страшит меня... плакать буду горько, а не преклонюсь перед смертью, к себе ее не позову и в гости к ней напрашиваться не стану. Вообще смерть – это форменное идиотство. Кого любишь, те всегда живут, говорит Сашенька.

Вчера Фимочка весь вечер все «старичком» меня звала: старичок мой да старичок мой! Сашенька даже оскорбилась несколько и замечание ей сделала, хотя мне самому это не было обидно несколько: ведь она же шутила. А все-таки захотелось в зеркало взглянуть... и что же, правда! Не скажу, чтобы так стар был я видом, но старше моих сорока шести, во всяком случае, а есть что-то в глазах и улыбке... да и в слезах, которые так часто у меня выступают. Но проживу я долго, это факт, и силу чувствую необыкновенную. Фимочка говорит, что это так закалил меня моцион по городу – пускай смеется!

Все мы рады новому месту, и на кого только переезд подействовал нехорошо, так это на Инну Ивановну: даже трудно понять, что так огорчило ее. Сразу захирела и вот уже

второй день лежит лицом к стенке, молчит и не то дремлет от слабости, не то умирает. А когда ей, не догадываясь, без приготовлений, сказали, что я потерял должность, то даже испугались мы – так она заволновалась, побледнела, задрожала вся; и уже всю мебель повывезли, а она все не хочет из своей комнатки выходить, плачет, когда возьмешь ее за руку. Что-нибудь представилось, вероятно; вчера вечером подзвала Сашеньку и тихонько шепчет: позови ко мне Павлушу; конечно, Сашенька ответила, что сейчас позовет, но, по счастью, больше своей ужасной просьбы несчастная старушка не повторяла. Сейчас заглянул – все спят, и она, и Сашенька, и дети; пока Сашенька здесь, нянька спит в Фимочкиной гостиной.

Выгодно удалось продать лишнюю мебель, обуза с рук. Сашенька пробудет с нами еще день, а потом отправляется в свой лазарет, будет искать и для меня какое-нибудь полезное занятие. Ну как мне сказать, до чего я ее уважаю! Ведь из такой угольной ямы вытащить человека, в какую я изволил залезть...

Пришла из гостиной Фимочка и, найдя меня не спящим, час целый сидела у меня и с ужасом рассказывала о немецком нашествии. Из ее бледности и бессвязных женских речей больше, чем из газет, понял и почувствовал, в каком трепетном ожидании вражеского нашествия находится вся наша столица, да и весь народ. Спаси, Господи, Россию и ее города, ее людей, ее дома и домишки. Не по заслугам, не по бо-

гатству и силе помилуй ее, Господи, а по малоумию нашему, по нищете нашей, которую так возлюбил ты в земной жизни твоей!

Не могу уснуть, так стремлюсь хоть к какому-нибудь делу. Раздражительно болтаются пустые руки, кажется, пол бы сейчас подмести, и то радость... да уж выметено! Нет, завтра же пошлю Сашеньку в лазарет, я здоров, и немислимо откладывать.

Будь бы у меня грудь шириной верст в триста, без колебания подставил бы ее под немецкие снаряды, чтобы загородить других!

15 сентября.

Уже есть два обещания: одно – счетоводом в комитет о беженцах, на небольшое жалованье; другое – на фронт, для ухода за ранеными на передовых позициях. Я настойчиво прошу второе, но, конечно, приму и первое, если так нужно.

Инна Ивановна плоха, все зовет Павлушу.

18 сентября.

Хожу с кружкой сборщиком для раненых.

20 сентября.

Мог ли я когда-нибудь представить, чтобы в слезах таилось такое неизреченное счастье! И как это странно: прежде от самых непродолжительных слез начинала болеть голова, во рту являлась горечь и грудь ломило тяжелой и тупой болью, а теперь плачется легко и радостно, как любитесь. Особенно испытал я это во время двухдневного хождения по Петрограду с кружкой, когда каждое даяние, каждый знак симпатии к раненым вызывал во мне неопишное волнение. И сколько добрых людей, сколько золотых сердец прошло перед моими счастливыми глазами!

Пользуясь своими длинными ногами и тем, что в товарищи мне дали хоть и маленького, но юркого и неутомимого гимназистика, я пробрался на Охту и там, среди бедных людей, рабочих и мастеровых, провел часы безмерного ликования.

– Вот это дают! – говорил мне гимназистик Федя. – Вот это так дают! Только бери.

– Да, Федечка, дают, только бери, – смеялся я на его наивную речь, а у самого просто-таки не высохали глаза. Смотрю на рабочего или бородача-ломового, как он, туго разворачиваясь, достает свою копейку или пятак, а сам так люблю его, что даже стыдно в глаза взглянуть, люблю его руку, его бороду, люблю все в нем, как самую драгоценную истину о чело-

веке, которую никаким войнам не затмить! И еще приятно, что эти не конфузятся и не извиняются, когда дают, не то что те, на Невском и Морской. Многие спрашивали про Федю:

– Сынок ваш, что ли?

– Нет, мы знакомые! – отвечал Федя, всегда почему-то немного обижаясь: он уже казался себе таким большим, что ничьим сыном быть не может. Он и тяжелую кружку у меня отобрал, пока не ослабел, а мне велел прикалывать значки, вообще командовал мною с полным достоинством.

Два раза меняли мы полную кружку и, оба увлекшись, доработались до такой усталости, что еле ноги волокли, особенно Федюк. Уже совсем смеркалось, когда каким-то перелучком выползли мы на берег Невы, наискосок от Ниточной мануфактуры с ее дымящими трубами, и уселись на бревнышке.

И тут долго мы наслаждались тишиной прекрасного вечера, барками и пароходами, ширью Невы, красотой розового в дымных облаках заката... никогда не забуду этого вечера. От прошедшего буксира набегали волночки на плоский берег и тихо плескались, охтинские ребятишки в тени выползших на берег огромных барок доигрывали вечернюю игру, а на том берегу уже зажглись кое-где голубые огни фонарей, и было на душе такое спокойствие и чистота, как будто и сам я стал ребенком. Я молчал, и Федя, сперва горячо болтавший о германцах, также затих и задумался; потом прошли куда-то по Охтинскому мосту солдаты – до нас, среди грохота езды

по далекому мосту, донеслась только отрывками их песня.

– Солдаты поют? – встрепенулся Федюк. – Где это они?

– На мосту... слушай, слушай!

Как хорошо, что поют солдаты без искусства, природными голосами, так и узнаешь в этих голосах и их молодость, и Россию, и деревню, и весь народ. Уже и песня смолкла, уже стемнело, и весь тот берег покрылся огоньками в окнах и фонарях, а я все думал о том невыразимом, что есть солдаты и Россия... Россия. Словно во сне увидел лес осенний и осеннюю дорогу, ночные огоньки в избах, мужика на телеге. Представил себе лошадиную морду – и в ней открывалось что-то милое, и с нежной благодарностью думалось о ее вековой работе, о других лошадях, о других деревнях, селах и городах... Оказалось же, что я попросту задремал, а Федюк – вот горе-то! – не только задремал, а и крепко-накрепко заснул, прижавшись ко мне головой. Слава Богу, хоть вечер был теплый, совсем летний. Поднял я его свалившийся картузик, а самого никак не могу привести в чувство, валится на меня, да и только! Насилу заставил глаза открыть.

Бормочет:

– Ей-богу, не могу идти.

– Я бы тебя донес, да силы не хватит. Дойдем хоть до парохода, а потом по Суворовскому на трамвае поедем.

– До парохода пойдем, – согласился Федюк: очень любит пароходы мой уважаемый товарищ.

Так два дня мы с ним работали. К сожалению, вчера был

дождь и поневоле приходилось сокращать сборы; но чувство то же и радость та же, и еще ярче светил человек среди осенней грязи и ненастья.

Кажется, получаю назначение на фронт.

24 сентября.

Схоронили Инну Ивановну. Уже давно только притворялась она, что живет, и ушла-таки к своему Павлуше. Не знаю, встретятся ли они там, но оба они в одном отныне, что нам неведомо; там же и Лидочка моя, там и я буду.

Но сколько умирает! Как просеку вырубает кто-то, и с каждым днем редет знакомый лес.

Ходят упорные слухи, да и газеты говорят, что немецкое наступление приостановлено. С весны непрерывно, шаг за шагом, двигались они на Россию и наконец остановились перед Ригой и Двинском; но по-прежнему, точно через невысокий заборчик, смотрят на нас их угрожающие глаза и в темной неизвестности таятся наступающие дни.

30 сентября, среда.

Со скорбью и нестерпимой жалостью смотрю я на людей. Какая тяжкая их доля на этом свете, как трудно им жить со своею неразгаданной душой! Чего хочет эта темная душа? Куда стремится она через слезы и кровь?

Все дни слушаю рассказы о беглецах из Польши и Волыни, о их необыкновенном шествии по всем дорогам. Кто-то назвал их «беженцами» и этим словом сразу внес успокоение: занесли беженца в книгу, поставили на счет, вычислили и теперь так говорят о нем, будто эта порода давно уже существует и мало кому нравится. А я этого спокойствия не понимаю, и мне больно представить, как шли они по дорогам и сейчас еще идут, со скрипом возов, с плачем и кашлем простуженных детей, с мычанием и ревом голодной домашней скотины. И сколько их – ведь точно целые страны переселяются с места на место, оглядываясь, как жена Лотова, на дым и пламя горящих городов и сел. Лошадей не хватает, и многие, как рассказывают, запрягают коровенок и даже собак покрупнее, а то и сами впрягаются и везут, как в древнейшие времена, когда впервые кто-то погнал человека... да и до сих пор гоняет его. Трудно представить, говорят, что делается на дорогах: идут такими толпами, в таком множестве, что скорее на Невский в праздник похоже, нежели на пустынное, осенне-грязное шоссе. И долго еще будет гонять

нас эта неведомая сила?

А тут сегодня еще новое печальное известие: напали болгары на сербов у какого-то Княжевца... и значит, не понимали мы этого: зарежет-таки брат брата? Вся душа содрогается, когда подумаешь, что и этот народ погибнет, что и этот луг скудный выкосят косари; каково им ждать теперь и прислушиваться: идут, идут! А что стоит вырезать и этих – ведь вырезали же турки 800 тысяч армян, как пишут газеты. Да что говорить: плачу и плачу, всех мне жаль и каждую минуту надрывается сердце над новым несчастьем. И не знаю я, молить ли мне Бога, чтобы он наказал предателей-болгар, или и здесь склониться перед непонятной мне тайной человеческой души?

А вчера было близко к тому, что вместо жалости и слез чуть не разразился проклятиями, еле-еле смирил себя за целую бессонную ночь. Попалась мне газета, где речь как раз идет о несчастных армянах; и вот что рассказывает очевидец, привожу его слова с точностью, как они напечатаны черным по белому:

«Но самые ужасные картины этот редкий очевидец наблюдал в Битлисе. Еще не доходя до Битлиса, в лесу он увидел группу свежезарезанных мужчин и возле них трех женщин, – совершенно голых – повешенных за ноги. Около одной из них ползал годовалый ребенок и тянулся ручками к матери, а мать с налитым кровью лицом, еще живая, протягивала руки к ребенку; но они не могли дотянуться друг до друга».

Мог ли я заснуть, однажды представив себе такую картину? Конечно, не мог, всю ночь прерывалось у меня дыхание и кровь прилиwała к мозгу, точно самого меня повесили за ноги и тянут кверху. Минутами начиналось настоящее удушье. Но любопытно, что и слезы у меня высохли за эту ночь. Все покрывал собою гнев, потребность проклинать убийц и еще какое-то чувство. Главное, оно. Я не говорю уже о «свежезарезанных» мужчинах... уже одно то, что о людях говорят как о баранах, показывает шаблонность этого зрелища и привычность ощущения. Да ведь и сколько их, этих «свежезарезанных», в нашей теперешней мясницкой. Но женщина и ребенок, женщина и ее ребенок...

Она была еще жива, вися головой вниз, может, уже и полчаса, может, и час, но как заливала кровь ее мозг, какие страшные кроваво-красные круги должны были ходить перед ее налитыми глазами! Как она дышала? Как билось еще ее сердце? И среди всего этого мутно-красного, темного темнотой смерти, она еще различала образ своего ползающего мальчика, только его и видела остатками зрения; изгибаясь с нечеловеческой силой, тянулась к нему синими руками и синим вздутым лицом. Другого бы напугало это страшное синее лицо, а он, годовалый несмышлениш, и сам тянулся к ней, все еще признавал в ней мать... «Но они не могли дотянуться друг до друга». Или расстояние велико было, или просто глупенький мальчик не умел подползти, где следует, и подать руки. А что ей нужно было? Не жизнь и не спасе-

ние, на которые невозможно было рассчитывать, а лишь одно: чтобы на миг соединить руки и в этом прикосновении обрести что-то великое для ее сердца. «Но они не могли дотянуться друг до друга».

И всю эту ночь в каком-то бреде, диком кошмаре, сам задыхаясь от удушья, я мысленно старался соединить эти безнадежно протянутые руки. Вот, кажется, сейчас соединю, сейчас они коснутся друг друга – и тогда наступит что-то вечное, что-то солнечное, какая-то немеркнущая жизнь... и нет, не вышло, что-то потянуло назад, неведомая сила оттягивает и меня. Встряхну головой, опомнюсь на минутку (тут я пожалел, что бросил курить, ужасно хотелось!)... и снова начинаю эту кошмарную работу, в которой нет ни начала, ни конца, снова соединяю, и вот уже близко опять... и опять неведомая и невидимая сила разъединяет, растаскивает, душит кровью, удушьем и отчаянием. Под конец стало грезиться что-то совсем чудовищное: эти руки, вместо того чтобы стремиться к соединению, уже тянутся ко мне с намерением удушать, кольцом охватывают горло, и уже не четыре их, а множество, множество...

Мои громкие стоны услышала Фимочка и в испуге прибежала, потом, узнав, в чем дело, дала мне эфирно-валерьяновых и вообще подействовала на меня успокаивающе одним видом своим живого человека. Но как только ушла, опять началось то же, хотя и не в таких страшных формах: меня не душили, но соединиться руки по-прежнему не могли, и я

по этому поводу что-то горячо ораторствовал в нашей конторе, сам размахивал длинейшими руками; и только к самому утру на полчаса забылся без сновидений.

Сегодня много странных мыслей и непроходящее волнение. Смотрю на каждую пару рук, чем-нибудь занятых или зря болтающихся в рукавах, и все мечтаю о соединении. Думал об Инне Ивановне и матерях. Как они не понимают, что каждая из них, оплакивая своего сына, сама стреляет в сына другой матери, а та наоборот, и все плачут? Нет, понимают, вероятно, это так просто, – здесь сила в чем-то другом. Кто к кому тянется, чтобы соединиться? И кто вечно этому мешает? «Но они не могли дотянуться друг до друга», – говорит очевидец.

И прошел мой гнев, и снова стало мне печально и грустно, и опять текут у меня тихие слезы. Кого прокляну, кого осужу, когда все мы таковы, несчастные! Вижу страдание всеобщее, вижу руки протянутые и знаю: когда прикоснутся они друг к другу, мать Земля к Сыну своему, то наступит великое разрешение... но мне его не видать. Да и чем заслужил? Жил я «клеточкой» и умру такой же клеточкой, и только об одном молю судьбу свою: чтобы не была напрасной моя смерть и страдания, которые принимаю покорно и со смирением. Но не могу совсем успокоиться в этой безнадежности: горит у меня сердце, и так я тянусь к кому-то руками: приди! дай прикоснуться! Я так люблю тебя, милый, милый ты мой!..

И все плачу, все плачу, все плачу.

